

А.Тесля

Русские беседы:

лица и ситуации

РИПОЛ КЛАССИК



РУССКИЕ БЕСЕДЫ

Русские беседы

Андрей Тесля

Русские беседы: лица и ситуации

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 122/129
ББК 87.3(2)

Тесля А. А.

Русские беседы: лица и ситуации / А. А. Тесля — «РИПОЛ
Классик», 2018 — (Русские беседы)

ISBN 978-5-386-10404-7

Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России, то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое. В первой книге серии основное внимание уделяется таким фигурам, как Петр Чаадаев, Николай Полевой, Иван Аксаков, Юрий Самарин, Константин Победоносцев, Афанасий Щапов и Дмитрий Шипов. Люди разных философских и политических взглядов, разного происхождения и статуса, разной судьбы – все они прямо или заочно были и остаются участниками продолжающегося русского разговора. Автор сборника – ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), кандидат философских наук Андрей Александрович Тесля.

УДК 122/129

ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-386-10404-7

© Тесля А. А., 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

Предисловие	6
Вместо введения	7
Часть 1	9
1. Неизменность Чаадаева	9
2. Россия и «другие» в представлениях русских консерваторов	33
Приложение	40
Русские консерваторы в быту	40
Между своими	43
3. Отсталый человек	47
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Андрей Тесля

Русские беседы: лица и ситуации

Рецензенты: главный редактор журнала «Полития», профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор политических наук С. И. Каспэ; зав. Кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, профессор Л. Е. Бляхер

Предисловие

В этот сборник вошли статьи вполне однородного содержания: все они посвящены русской интеллектуальной истории XIX – начала XX века, подавляющая их часть фокусируется на каком-либо конкретном персонаже и уже исходя из его воззрений, его интеллектуальной эволюции в той или иной степени очерчивает контекст. Моей целью не было нарисовать единую картину, дать последовательное изложение – мне представляется, что в многоаспектности, очерковости есть свои преимущества не только практического, но и теоретического плана: ведь ради последовательности изложения мы нередко обречены жертвовать непоследовательностью и разноплановостью исторической реальности. Даже если ограничиваться лишь сферой интеллектуальной истории, русский XIX век никак не может быть сведен без невосполнимых потерь к одной или даже нескольким четко прочерченным линиям развития. Они существуют, разумеется, и хорошо известны например, когда речь заходит о переходе «от романтизма к реализму» или от дворянской к разночинской культуре), но это движение не равномерно и, что важнее, не едино для разных групп и сообществ. Так, ориентируясь на литературные петербургские образцы 1840-х, не получится представить себе эстетические воззрения харьковчан тех же лет: они живут в другом времени, но дело не только в отставании – ведь при этом они сами знают об этой рассинхронизации и, следовательно, переживание ими «современности» включает и подобное знание. В других случаях, напротив, взгляды, вырастающие из дискуссий, давно вроде бы «пережитых» и «изжитых» в центре, возвращающиеся в него, оказываются новыми, производят неожиданные последствия – уже в силу того, что контекст, из которого воззрения вышли, и контекст, в который они попали, принципиально различны.

Статьи, объединенные под одной обложкой, писались на протяжении нескольких последних лет – за это время представления самого автора успели измениться. Мне кажется, что перемена эта скорее экстенсивная – но в данном случае довольно сложно адекватно судить о самом себе. Отбирая тексты, я постарался включить те, что представляются мне в настоящий момент наиболее удачными или раскрывающими те аспекты, которые по сей день актуальны в моих глазах. Однако я решил не перерабатывать эти тексты, за исключением незначительной правки оставив их в том виде, в каком они были в свое время опубликованы или подготовлены к печати: на мой взгляд, нет смысла редактировать один и тот же текст, добиваясь совершенства: если суждения изменились радикально, то лучше написать новый, если же нет, то стоит ограничиться уточняющим примечанием. Сознаю, что далеко не все со мной в этом согласятся, но мне лично проще написать заново, чем вновь и вновь переписывать и отшлифовывать уже сделанное: это не вопрос выбора, а вопрос склонностей – тот, кто умеет шлифовать, добьется прекрасного результата, но неспособный к этому лишь напрасно потратит время – и хорошо, если только свое.

Мне представляется, что сейчас, в условиях мира модерна, неразумно искать в прошлом готовых примеров и образцов – его роль в ином: говоря словами XIX в., «всю цену истории составляет самосознание»¹. Прошлое дает нам возможность увидеть иное, дистанцироваться от настоящего – и в то же время, через осознание многообразия путей к/в современности, понять ее и свое положение в ней. Не мне судить, насколько полезны для других окажутся экскурсии в прошлое и отклики на современные рассуждения о прошлом, собранные под этой обложкой – но, надеюсь, они окажутся по меньшей мере любопытны – ведь история должна быть занимательна.

¹ Победоносцев К. П. Вечная память. Воспоминания о почивших. – М.: Синодальная типография, 1896. С. 110.

Вместо введения

О памяти, истории и интересе

До XIX в. напряжения между «историей» и «памятью» (пока оставим эти понятия без прояснения, несколько конкретизируя их дальше) не существует. «Историк» здесь (а скорее «архивариус») – специалист по памяти, тот, кто помнит и ведаёт больше, чем остальные, и чья память может оказаться как полезной, в виде припоминания чего-то ситуативно актуального, уместного – вспоминания какого-нибудь обстоятельства времен прошедших, подходящего в качестве аргумента для споров сегодняшнего дня, либо, равным образом, вредной – когда те же обстоятельства лучше забыть или оставить *не*-вспомненными (как, например, для остроумцев и спорщиков XVIII в. хорошее знакомство со святоотеческими писаниями было эффективным орудием в дебатах с их оппонентами, нарушая монополию памяти (и забвения) «клерикалов» – или, и ранее и позже, споры между «галликанцами» и «ультрамонтанами» были во многом состязанием в «неудобных припоминаниях» прецедентов прошлого, упорно не укладывавшихся ни в одну последовательную теоретико-юридическую конструкцию).

«История» здесь существует не для того, чтобы помнить о разрыве, а дабы воссоздавать связь, выстраивать преемственность, в том числе обуславливая эффект «неизменности памяти» – представления о том, что памятуемое остается одним и тем же. Это не только и даже не столько механизм «забвения», сколько устройство, делающее невозможным сам вопрос о «забытом» в точках напряжения: забытым оказывается сам акт забвения, поскольку нет «шва», обозначающего целенаправленное забвение (в отличие от ситуации, когда мы не можем, например, восстановить биографию лица, поскольку документы из его дела были уничтожены: пустота архивного дела, акт изъятия и уничтожения или менее явные следы остаются знаками «отсутствующего прошлого», создают «негативную память», память о самом акте забвения).

Историк, условно говоря, после Ранке, открывшего архив, не специалист (или, во всяком случае, не только специалист) по памяти, но тот, кто открывает отсутствующее в памяти. Эта разница очевидна в первые десятилетия XIX в. Для одних история встроена в прежнюю логику: новый историк рассказывает то, что рассказывали его предшественники, рассказывает так, чтобы это было понятно и интересно его современникам (история ведь еще остается родом «изящной словесности»), рассказывает «памятуемое», переводя из одной формы памяти в другую (из архива, из библиотеки – в рассказ). Так, замечательный польский историк Самуил Брандтке в 1820 г. передавал в своей «Истории государства польского» легендарные предания о первых польских королях не потому, что считал их достоверными (совсем напротив, прямо помещая их в разряд «легенд»), и не потому, что считал их древними (оговаривая позднее происхождение): он рассказывает об этом, поскольку об этом рассказывали его предшественники, это входит в «общую память» и он здесь – еще один, крайний на этот момент, участник в цепочке передающих предание.

Для других же историк – не тот, кто сохраняет, воспроизводит буквально или пересказывает документ, но, используя язык принуждения, характерный в данном случае, «допрашивает» его, дабы узнать, о чем документ молчит, что в нем содержится неявным образом. Следовательно, его надлежит не «помнить», а с ним необходимо работать – это не память, а работа с памятью (ее при желании можно уподобить работе с воспоминаниями в психоанализе, впрочем, вряд ли аналогия может остаться достаточно точной уже на втором шаге).

Прошлое при этом – принципиально едино; соответственно, единой надлежит быть и памяти о нем, и истории, которая (уже в своем новом, научном статусе) должна обеспечить «правильное памятование». Иными словами, история – инстанция, контролирующая память, что верно как для Хальбвакса, так и для Нора, причем, если первый не обеспокоен потенциа-

ной разрушительностью истории для разных уровней памяти (ведь «история» обладает статусом «науки» и, следовательно, говорит от имени «истины»), то для второго разрушительность истории по отношению к «национальной памяти» допустима, поскольку больше нет нужды в ее сохранении, сообщество (политическое, культурное и т. д.) поддерживается другими средствами, поэтому оказывается возможна работа истории над национальной памятью и ее деконструкция.

Проблемы, которые здесь выходят на поверхность, связаны не с множественностью памяти, но с единством истории. Множественность памяти не составляет проблемы, например, для традиционного или раннемодерного европейского общества, поскольку это память разных групп и сообществ, в том числе и тех, к которым принадлежит индивид (единство его памяти утверждается в довольно ограниченном объеме – требуемом исповедью, где выстраивается «личность» и возникает отграничение «интимного» от «частного», как противостоящего «публичному») и которые, зачастую, на своем уровне также воспроизводят сосуществование «коммуникативной» и «культурной» памяти, начиная от семьи, материально фиксирующей память на последних листах Библии (напр., в голландском семействе XVII в.) или псалтыри, в семейных иконах и т. д. (как ярославские купцы XVIII в.) и до цеха или масонской ложи со своими реестрами и архивами. «Большие нарративы» не столько конкурируют, сколько сосуществуют друг с другом – формируемые духовенством (в виде непрерывности священной истории, переходящей в историю церкви, чтобы завершиться апокалипсисом) и светской администрацией (выстраивающей последовательность по образцу галереи, как это впервые подробно рассмотрел Арьес: последовательность персон, портретов, каталога и биографий образует цепь «мест памяти», которая затем перейдет, например, от «Царского титулярника» к суворинским и сытинским брошюрам). Однако между ними редок конфликт – уже в силу того, что каждая из этих «памятей» принадлежит своему сообществу и «припоминается» применительно к нему.

Конфликты, которые станут центральными в последнее столетие – не только вокруг национальных/ политических «памятей», а во многом и не столько из-за давления «единой памяти», «национальной», сколько из-за того, что других «памятей» становится меньше и/или они оказываются зримо разрушающимися, поскольку исчезают или ослабевают те группы, которые могли поддерживать многоформационную память. В результате индивид оказывается в ситуации, когда обладает лишь личной и политической памятью, со слабыми, неустойчивыми и мерцающими памятьми между ними – индивидуальную память необходимо, оказывается, «крепить» в «большой памяти», как описывает тот же Хальбвакс в своем известном эссе с зачином о детском воспоминании парада (точнее, о своем воспоминании виденного в детстве).

Тем самым меняется и позиция историка – если ранее он собирал «единую историю», выправлял «память», делая ее управляемой, осуществляя над нею контроль, прореживая множественность разбегающихся «памятей» и осуществляя работу с воспоминаниями, чтобы сформировать единую реконструкцию (способ упорядочивания мог быть различным, но принципиально иерархичным), то теперь он вновь оборачивается специалистом памятования, а не только специалистом по памяти (в том числе и потому, что сама потребность в памяти оказывается все больше под вопросом, по крайней мере относительно прежнего объема памятуемого не посредством накопительной памяти – такое впечатление, что рост последней освобождает от необходимости удерживать объем других формаций памяти). При этом обращенность к собственному положению, собственному «памятованию» как источнику/импульсу своей деятельности (собственному на разных уровнях – от индивида до тех групп и сообществ, в которые он входит и с которыми себя соотносит) задает новый интерес – удержание множественности «памятей» как неиерархизируемых без остатка (или, по крайней мере, не включаемых лишь в одну иерархию), т. е. вновь делает историю сознающим себя «искусством памяти».

Часть 1

Дворянские споры

1. Неизменность Чаадаева

Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.
М. О. Гершензон, 1908 г.

Московский старожил

Когда 14 апреля 1856 г. о флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:

«Скончался один из московских старожил, известный во всех кружках столицы».

Затруднение редактора в подыскании слов для определения покойного не сложно понять: Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших. Даже литератором назвать его было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.

Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях – он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно, сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.

Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти, возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:

«[...] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состо-

яния. [...] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы». Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»².

Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М. И. Жихаревым первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.

Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований – они не были заблуждением, но в то же время рисовали облик совсем иного лица, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли – исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря или вопреки тому, что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было еще более примечательным – Чаадаев сам не перешел в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.

Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться»³. До этого времени о нем знали не очень много – после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.

Петр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребенком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урожденной княжны Щербатовой, так что Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской»⁴, приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее – впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а еще два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяла на себя тетушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.

По словам М. И. Жихарева, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни человека, тетушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года⁵, весною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни

² Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений. В 30 т. Т. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.

³ Герцен А. И. Былое и думы: Части 4–5 / Комментар. Г. Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.

⁴ А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.

⁵ Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.

переправлялась через две разлившиеся реки – Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата»⁶. Тетушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея – была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это со своей стороны почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала последнему:

«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами»⁷.

Состояние досталось им от родителей более чем достаточное – около одного миллиона рублей на двоих, воспитание они получали сперва домашнее, а затем в 1808 г. поступили в Московский университет, где их сотоварищами сделались А. С. Грибоедов, Д. А. Облеухов, братья Л. и В. Перовские, И. М. Снегирев, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин.

Для этого времени и этой среды дружба значила очень много – отношения, обретенные в юности, продолжались всю жизнь⁸. Так, после приговора по делу декабристов, по которому Якушкин за умысел на цареубийство был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, Чаадаев навещает его семью, как и брат Михаил, и затем, по мере того как сыновья Якушкина, Вячеслав (1823 г. р.) и Евгений (1826 г. р.), подрастали, охотно принимал их на Басманной, а уже после смерти Чаадаева Евгений Якушкин собирал материалы о нем, сожалея, что не успел записать устные воспоминания Петра Яковлевича, опубликовал в «Библиографических записках» (1861, № 1) ряд его писем и способствовал изысканиям о Чаадаеве М. Н. Лонгинова, близкого в то время к нему библиографа и библиофила⁹.

На исходе весны 1812 г. он вместе с братом зачисляется подпрапорщиком в гвардию, в Семеновский полк, и проходит кампанию 1812 г., а затем Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг., снискав дружбу сослуживцев и уважение старших. По окончании походов и возвращении из Франции переводится (теперь уже один, без брата, продолжившего службу в Семеновском) в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе – там, в императорской резиденции, он часто бывает в доме Н. М. Карамзина, где в июне или июле 1816 г. знакомится с А. С. Пушкиным¹⁰.

⁶ Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И. А. Федосова; вступ. ст. Н. И. Цимбаева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 51.

⁷ Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное. В 4 т. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С. Я. Левит, коммент. Е. Ю. Литвин, В. Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.

⁸ См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 58, 66.

⁹ См.: Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. 61–70.

¹⁰ Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№№ 71, 117, 119) «Материалов для [...] биографии» Пушкина, составленных П. И. Бартеневым [см. переиздание: Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С. П. Шевыреву: «Вы, конечно, заметили, что, описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин *гордился моею дружбою*; он говорил, что *я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому*, а г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его *Материалы*» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: *Чаадаев П. Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. / Отв. ред. З. А. Каменский. – М.: Наука, 1991. – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]*

Карьера Чаадаева идет успешно – на исходе 1817 г. он назначается адъютантом гр. И. В. Васильчикову, одному из самых близких к императору Александру I лиц, и, с общей точки зрения, может рассчитывать на быстрое дальнейшее повышение, будучи лицом известным и ценным высшими чинами империи. Но его собственные планы лежат в иной области – брат его уже ранней весной 1820 г. выходит в отставку и поселяется в Москве, а сам Чаадаев подает прошение об отставке на исходе декабря того же года и получает ее в феврале 1821 г.

Столь неожиданный при свете внешних обстоятельств поступок обрастает массой слухов и предположений, Ф. Ф. Вигель расскажет, что отставка выйдет из неудовольствия государя на опоздание Чаадаева с известием о восстании в Семеновском полку:

«[...] гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками»¹¹.

Ту же историю в сокращенном виде повторит, например, хороший московский знакомый Чаадаева более поздних лет М. А. Дмитриев¹² и знавший Чаадаева большую часть его жизни Д. Н. Свербеев¹³. История эта, однако, прямо противоречит достоверно известным фактам, и предложить свою версию происшедшего попытался уже М. И. Жихарев (вынужденный, впрочем, строить лишь гипотезы, поскольку сам Чаадаев всегда отказывался говорить на этот счет). Согласно Жихареву, Чаадаев поддался тщеславному чувству, отправившись с донесением, однако затем был вынужден осознать, что является вестником и одним из орудий кары, которая должна постигнуть его бывших сослуживцев по Семеновскому полку, – получить ближайшее почетное назначение, флигель-адъютантство, значило бы получить награду за предательство.

Оказавшись в тупике, Чаадаев по размышлению и избрал отставку, оставляющую его совесть и, что гораздо важнее, его честь чистыми¹⁴. Но и эта трактовка была оспорена с большим набором аргументов М. О. Гершензоном, отметившим, что происшедшее не повлияло на репутацию Чаадаева среди друзей и знакомых, сослуживцев по Семеновскому полку и по гвардии в целом – никак не отозвавшись в переписке, никогда не упоминаясь: никто не думал ставить ему поездку с официальным донесением от его начальника, гр. Васильчикова к государю, в вину¹⁵. Еще одну версию предложил сравнительно недавно Ю. М. Лотман, полагавший, что Чаадаев в своем поступке ориентировался на литературный образец – маркиза Позу, отставка была обращена именно к государю как адресату, демонстрируя бескорыстие и тем самым давая право высказывать свое суждение и вес высказываемому¹⁶.

Вопреки столь изощренной версии, как последняя, видимо, стоит согласиться с М. О. Гершензоном, искавшим истоки решения в религиозном кризисе, переживаемом Чаадаевым. Об отставке он начинает писать гораздо раньше событий в Семеновском полку – известия брата, что прошение его удовлетворено, он говорит:

«Итак, ты свободен, весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного: возможно скорее оказаться в том же положении. Если бы

¹¹ Вигель Ф. Ф. Записки. В 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.

¹² Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой; вступ. ст. К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.

¹³ Свербеев Д. Н. Мои записки / Изд. подгот. М.В. Батищев, Т. В. Медведева; отв. ред. С. О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.

¹⁴ См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 71–80.

¹⁵ См.: Гершензон М. О. Указ. соч. С. 389–391.

¹⁶ См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПб, 1994. С. 346–352.

я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее – но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим» (II, 10–11, письмо от 25 марта 1820 г.).

А тетушке, извещая ее о том, что отставка подана (но еще не принята), Чаадаев пишет, рассказав об обоснованности слухов о предстоящем ему флигель-адъютантстве:

«Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают. В сущности, я должен вам признаться, что я в восторге от того, что уклонился от их благодеяний, ибо надо вам сказать, что нет на свете ничего более глупо высокомерного, чем этот Васильчиков, и то, что я сделал, является настоящей шуткой, которую я с ним сыграл. Вы знаете, что во мне слишком много истинного честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым уважением, которое она доставляет. [...] Я предпочитаю позабавиться лицемерием досады высокомерной глупости» (II, 14–15, письмо от 2 января 1821 г.)

Как бы то ни было, в феврале 1821 г. отставка была получена, и следующие два с небольшим года Чаадаев проводит отчасти в Москве, отчасти в деревне, чтобы летом 1823 г. отправиться в заграничное путешествие.

Первоначально он должен был ехать в Любек, чтобы принимать морские ванны вблизи Гамбурга, но приехав в Кронштадт, взглянув на совершенно не понравившийся ему немецкий корабль и наблюдая рядом другой, английский, готовящийся к отплытию в Лондон, передумал – «не мог утерпеть и решил ехать на нем. [...] Позабыл было, ты, – обращался он к брату, – верно, спросишь, что же ванны морские? – да разве в Англии нет моря?» (II, 20, письмо от 5 июля 1823 г.). По его письмам этих лет трудно догадаться, что его тревожит и не дает покоя (он с трудом отвечает на письма, задерживаясь с самым срочным ответом на полтора месяца, перевозит за собой уже написанное письмо из Лондона в Париж, чтобы наконец собраться с силами и отправить его на родину), но, будучи образцом благовоспитанности и приличий, ничуть не обременяет своих корреспондентов содержанием переживаний, обычно выдерживая легкий тон. Хотя «дневник Чаадаева», обширно цитируемый Гершензоном, оказался не принадлежащим ему¹⁷, да и склонности к индивидуальной мистике Чаадаев нигде не демонстрирует (его религиозность, если позволительно так выразиться, носит исключительно интеллектуальный характер), но перемена в нем происходит разительная за десятилетие, прошедшее между отставкой и возвращением в московское общество. Пропутешествовав три года, посетив помимо Англии Францию, Швейцарию и Италию, где вместе с Н. И. Тургеневым осматривал Рим, побывав на Карлсбадских водах, где познакомился с Ф. В. Й. Шеллингом и затем надолго задержавшись – по собственной болезни и по душевной болезни брата Н. И. Тургенева, Сергея, которому стал заботливой сиделкой до приезда его родных – Чаадаев возвращается в Россию (вынужденный в Брест-Литовске давать показания по делу о причастности к декабристскому мятежу), в сентябре 1826 г. оказывается в Москве, где, в частности, присутствует на чтении Пушкиным «Бориса Годунова», но уже в следующем месяце уезжает в подмосковное имение своей тетки. Затворником он проживет ближайшие несколько лет, общаясь с очень небольшим кругом, соседским, преимущественно женским: в эти годы в него влюбится (безответно – как и все прочие неравнодушные к нему дамы) Авдотья Сергеевна Норова (1799–1833)¹⁸, рядом с

¹⁷ См.: Шаховской Д. И., кн. Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. Т. II. – Шаховскому удалось доказать ошибку Гершензона, последовавшего за М. И. Жихаревым, обнаружившим дневник в бумагах, оставшихся от Чаадаева – в действительности дневник принадлежит многолетнему его другу, товарищу по Московскому университету Д. А. Облеухову, скончавшемуся в 1827 г.

¹⁸ Сестра Александра и Абрама Норовых – последний в дальнейшем, с 1853 по 1858 г., будет занимать пост министра

которой он велит себя похоронить в Донском монастыре¹⁹ (I, 573), познакомится с Екатериной Дмитриевной Пановой (1804 – после 1858), их последняя встреча и завязавшаяся переписка послужит возникновению цикла «Философических писем...». Отвечая на ее письмо, Чаадаев приступит к изложению своих, уже давно обдумываемых идей – работа увлечет его, письмо адресату вряд ли вообще будет отправлено, но найденная форма окажется идеально соответствующей тому, что и как хотел сказать Чаадаев.

Эти годы он живет в Москве – деревенская жизнь совсем не пришлась ему по духу, но практически не выходит и нигде не появляется. Одно из немногочисленных свидетельств этого времени принадлежит жене И. Д. Якушкина, не последовавшей за ним в Сибирь, а оставшейся с двумя малыми детьми в Москве, писавшей мужу 24 октября 1827 г.:

«Пьер Чаадаев провел у нас целый вечер. Мне кажется, что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным и, подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости. [...] Пьер Чаадаев сказал мне, что я говорю только глупости, что слово счастье должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Прямо, как он изволил мне сказать, но вполне вежливо. Под конец он согласился, что это могло бы быть правдой. Он обещал мне принести главу из Монтеня, единственного, кого можно, по его словам, читать с интересом. Но если бы ты его видел, ты нашел бы его весьма странным. Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет вслед за Мольером: «О великий человек», а я говорю потихоньку: «Бедный человек»» (II, 305–306).

Московский хроникер С. П. Жихарев писал А. И. Тургеневу почти два года спустя, 6 июля 1829 г.:

«[Чаадаев] Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви»²⁰.

Когда он вновь выйдет в московское общество в 1831 г.²¹, его старый знакомый А. И. Тургенев найдет его чрезвычайно изменившимся:

«Был я у Петра Яковлевича. Нашел его весьма изменившимся: постарел, похудел, и почти весь оплешивел. [...] Сначала я ничего не заметил, что бы могло оправдать мнение тех, кои полагают его слишком задумчивым; но после я увидел, что одна мысль, религиозная – о коей он и пишет – слишком исключительно занимает его, и что он почитает себя слишком больным и

народного просвещения.

¹⁹ Предоставляя, впрочем, душеприказчику выбор: другим вариантом было быть похороненным рядом с Екатериной Гавриловной Левашовой (ум. 1839), в доме которой на Новой Басманной Чаадаев в 1833 г. снимет флигель, из которого не переедет и после продажи дома семейством Левашевых.

²⁰ Жихарев С. П. Записки современника. В 2 т. Т. II. – М., Л., 1934. С. 428.

²¹ Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется „ни в короб, ни из короба“, предписал ему „развлечение“, а на жалобы: „Куда же я поеду, с кем мне видется, как где быть?“ – отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным [...], своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжение не врача просто, а настоящего друга» [Жихарев М. И. Указ. соч. С. 85].

слабым, хотя, впрочем, точно он на вид очень похудел» (II, 307, письмо к Н. И. Тургеневу от 2 июля 1831 г.).

С того времени, как Чаадаев вернулся в общество, жизнь его потекла без особых перемен вплоть до кончины – двадцать пять лет он был постоянным участником московских споров, салонных разговоров, язвительным комментатором происходящего. Потрясение, вызванное реакцией на публикацию «Философического письма...», вскоре прошло:

«Когда [...] его история окончилась и он опять воротился в свет, его приняли и с ним обошлись так, как будто бы с ним ничего не случилось. Сначала в продолжение двух, трех, много четырех годов от него отчасти сторонились, мало, впрочем, заметное число более или менее официальных, или, быть может, более или менее трусливых людей, да несколько видных тузов обоего пола, недовольных и разгневанных его мнениями, которых они, однако же, подробно и в ясной точности никогда не знали. С прошествием времени и это явление совершенно исчезло. Тузы не замедлили разобратся по кладбищам, официальные люди перестали дичиться, а к робким возвратилась бодрость»²².

Д. Н. Свербеев вспоминал: «С 1827 по 1856-й г. Чаадаев безвыездно прожил в Москве и около 25 лет на одной квартире²³ в Новой Басманной, в доме почетного гражданина Шульца, принадлежавшем прежде близкому ему семейству Левашовых. Живя на одном месте, он до того сделался рабом своих комфортабельных привычек, что все эти 30 лет ни разу не мог решиться провести ночь вне города, хотя многие из его родных и друзей радушно и настойчиво приглашали его в свои подмосковные, придумывая всевозможные удобства для такой легкой поездки и желая доставить хозяину дома возможность перекрасить на его квартире полы и стены и поправить к осени печи. Ему и самому очень хотелось освежиться деревенским воздухом, но привычка брала над ним верх»²⁴. Все эти годы он потихонечку разорялся – точнее, был уже фактически разорен, не столько из-за излишеств, сколько по неспособности разумно распоряжаться деньгами: брат его продолжал выплачивать ему «проценты» с несуществующего капитала, а он делал все новые долги и винил брата, насчитывая на нем долги. Дела его в последние пару лет могли бы обернуться совсем печально, но здесь он умер:

«Тогда говорили и говорили чрезвычайно верно, что он во всю свою жизнь все делал отменно ловко и кончил тем, что отменно ловко умер»²⁵.

Бумаги свои он передал Михаилу Ивановичу Жихареву – «племеннику», в действительности довольно дальнему его родственнику, с которым он чрезвычайно сблизился в последние полтора десятилетия. Избранный им наследник вполне оправдал надежды завещателя – по крайней мере он сделал все, что было в его силах, опубликовав у о. Ивана Гагарина избранные сочинения Чаадаева, пытаясь издать перевод «Апологии...» в «Современнике» (за подготовку рукописи брался Н. Г. Чернышевский, но публикация не состоялась), написал в 1865 г. биографию, остающуюся ценнейшим источником сведений, поскольку многие из них основываются на устном предании и разговорах с Чаадаевым²⁶:

«Жихарев трогательно заботился о сохранении в русском обществе памяти о Чаадаеве, например, рассылал знакомым и незнакомым людям,

²² Жихарев М. И. Указ. соч. С. 107.

²³ С 1833 г.

²⁴ Свербеев Д. Н. Указ. соч. С. 528.

²⁵ Жихарев М. И. Указ. соч. С. 80.

²⁶ Опубликовано: Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. – 1871, № 7, 9. – Полный текст впервые опубликован в издании: Жихарев Д. И. Указ. соч. С. 48–118.

знавшим мыслителя, фотографические снимки с картины К. Бодри, где изображен чаадаевский кабинет в Москве»²⁷ – это доходило иногда до комизма, так, И. С. Тургенев писал брату Николаю в 1869 г.: «Посылка г-на Жихарева (которого я, впрочем, не знаю) состоит в фотографии чаадаевского кабинета: мне уж доставили 8 таковых фотографий, и я начинаю думать, что это мистификация»²⁸. А 8 июля 1872 г. М. И. Жихарев писал М. И. Стасюлевичу, издателю и редактору «Вестника Европы», в котором за предыдущий год ему удалось издать целую серию материалов Чаадаева и о Чаадаеве: «Чувствуя живейшее желание, чтобы хозяин журнала, в котором Александром Николаевичем Пыпиным так много сделано для памяти покойного Чаадаева, имел у сего в его воспоминание какую-нибудь безделицу из его вещей, позволяю себе вместе с этим к вам препроводить одно из его кресел, его портрет с собственноручной подписью и подсвечник, им когда-то купленный в Лондоне, бывший у него в постоянном употреблении и без которого его одного у себя в комнате в ночное время себе вообразить невозможно. Позвольте вас убедительно просить эти вещи принять благосклонно» (I, 756–757) – на что уже Стасюлевич писал Пыпину: «Сию минуту получил от нашего милого чудака М. И. Жихарева письмо с тремя вещами Чаадаева: потрет, подсвечник и кресло. Посылаю вам львиную долю для кабинета» (I, 757).

Впрочем, как видно и из биографии, написанной Жихаревым, его любовь не была слепой – он восхищался Чаадаевым, но умел отнестись к недостаткам и слабостям его как к тому, что не умаляет его достоинств, и быть проницательным судьей его текстов. Так, в письме к А. Н. Пыпину от 20 января 1871 г. он отмечает:

«[...] вся совокупность сочинений Чаадаева носит на себе некоторый характер однообразия, весьма изъяснимый и понятный, но от того не меньше довольно огорчительный и до некоторой степени ведущий к скуке и утомлению. И странное дело, в то бесконечное количество раз при жизни Чаадаева, когда с ним вместе разговаривали об всей целостности его деятельности, ни ему, ни мне эта ее черта ни разу не приходила в голову. И поразила она меня только годов семь после его конца, когда по издании „Oeuvres Choiesies“ я стал окончательно и усиленно заниматься приведением в порядок последних бумаг» (I, 714).

Мы же, со своей стороны, полагаем, что это впечатление – результат особенностей мыслей Чаадаева, о своеобразии которых и пойдет речь далее.

Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»

Бытует расхожее утверждение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды – и оттого реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной: его карали за взгляды, которых он уже не разделял, за утверждения, от которых он во многом успел отказаться.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным – за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 гг. разным адресатам, его суждений, нашедших отражение даже в печати, хотя Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться „Апологии“».

²⁷ Цимбаев Н. И. [Комментарии] // Жихарев М. И. Указ. соч. С. 359.

²⁸ Цит. по: Там же.

Конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России»²⁹, но сказанное Чаадаевым в «Апологии...» если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться – представить иную аранжировку ранее высказанных идей.

И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства, а именно настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.

Почти сразу же по выходу из уединения и возвращении к жизни московских гостиных, Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему распространению. В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д. Н. Свербеев³⁰ рассказывал:

«Я читал некоторые из этих писем (*и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время?* [выд. нами. – А. Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания»³¹.

М. П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весной 1830 года»³².

В 1831 г. Чаадаев передаст рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург – с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф. М. Беллизара³³:

«Вероятно, – пишет М. И. Гиллельсон, – по приезде [...] Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева³⁴), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать [...]»³⁵.

В ноябре 1832 г. Чаадаев вновь попытается издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А. И. Семена (*там же*) – тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А. П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру, однако последнего он не смог сделать, отвечая:

²⁹ Мандельштам О. Э. (1971 [1915]) Петр Чаадаев // Собрание сочинений. В 3 тт. Т. 2: Проза. Изд. 2-е, пересмотр. и доп. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, вступ. ст. Б. А. Филиппова. – Париж: Международное литературное содружество. С. 288.

³⁰ Чаадаев скончался 14 апреля 1856 г., а предваряющее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А. Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 г. [текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: Свербеев Д. Н. Указ. соч. С. 843–844].

³¹ Свербеев Д. Н. Указ. соч. С. 523.

³² Гершензон М. О. Указ. соч. С. 440.

³³ Пушкин А. С. Письма. Т. III. 1831–1833 / Под ред. и с прим. Л. Б. Модзалевского. – М., Л.: Academia, 1935. С. 334.

³⁴ 23 августа 1831 г. В. А. Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т. е. Пушкин. – А. Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» [Жуковский В. А. Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. – М., 1895. С. 258]. Вопреки мнению М. И. Гиллельсона, полагавшего, что Чаадаев получил оригинал своей рукописи в августе 1831 г. [Вацуру В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1986. С. 172] и В. В. Сапова, предположившего (на основании письма А. И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 г., из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 г. – еще в январе 1832 г. Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А. П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 г., в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» [Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813–1853 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э. М. Жиликовой. – М.: Знак, 2009. С. 376].

³⁵ Вацуру В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 172.

«[...] первые страницы, где показывается неосновательность Протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога, и пользовавшегося необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги» (II, 527, письмо от 1 февраля 1833 г.)³⁶.

Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П. А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале:

«Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 г.).

Так он и поступит в 1836 г. – как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М. К. Лемке «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда „Московскому Наблюдателю“, где они не появляются» (Лемке, 1909: 402), и, как веско отмечал М. О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (Гершензон, 2000 [1908]: 441). В 1834 г. Чаадаев в письме к кн. П. А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:

«Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 г.).

До 1988 г. считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден, под влиянием постигших его неудач, пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 г. попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А. И. Тургеневу (II, 93–94), однако последний ответил отказом, не рискуя «взять на себя ответственность за подобную публикацию» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172, со ссылкой на письмо А. И. Тургенева к П. Я. Чаадаеву от 22 августа/3 сентября 1835 г.³⁷). Но после публикации Б. Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу³⁸, появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не

³⁶ Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 г. см.: II, 536–538.

³⁷ Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном [Гершензон М.О. Указ. соч. С. 441] с более поздней датировкой, 1836 г. – уточнение датировки см.: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма П. Я. Чаадаева / Под ред. М.[О.] Гершензона. – М.: Путь, 1914. С. 196.

³⁸ Тарасов Б. Н. «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о П. Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. – 1988, № 2; републ.: Чаадаев П. Я. Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Н. Тарасова. – 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1989. С. 389; II, 101–102.

только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался – публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий – Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представлял идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:

«Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не исказить текст» (II, 89, письмо к кн. П. А. Вяземскому от 9 марта 1834 г.).

В письме к Пушкину 17 июля 1831 г., побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы: «Постарайтесь [...], прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолобивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это доверить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие» (II, 67).

Реакция на «Философические письма»: до и после публикации

Кн. П.А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья, как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже):

«Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приглубить его и ухаживаем за ним.

Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном»³⁹.

К этому письму А. И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву, – рукопись его вызвала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение⁴⁰. В чем сходились и Пушкин, и А. И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так в стремлении отделить «христианство» от конфессии⁴¹. Пушкин пишет, начав, разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»:

³⁹ Переписка А. С. Пушкина. В 2 тт. Т. 1 / Вступ. ст. И. Б. Мушиной; сост. и коммент. В. Э. Вацура и др. – М.: Художественная литература, 1982. С. 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 г. Ср. схожий отзыв из письма А. И. Тургенева к брату Николаю, от 2 июля 1831 г.: Чаадаев «давал мне прочесть одну тетрадь, и я нашел много хорошего и для других нового, хотя, впрочем, я и не разделяю мнений его» (II, 308).

⁴⁰ Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева с 1826 г. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 г. А. И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).

⁴¹ В последующем Чаадаев подробно выскажется по этому поводу, полемизируя с И. В. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слышали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церковь, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не почитает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т. е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непреременной правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной, *эта несознательность мысли, эта невяжливость христианского понятия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством* [выд. нами. – А. Т.]» (I, 547–548).

«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской»⁴².

Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину:

«Поставь на место католицизма – христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной.

На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, *в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию* [выд. нами. – А. Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он – выслушивает *и другую сторону*: т. е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны»⁴³.

Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь – для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается⁴⁴. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

М. А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н. Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал:

«Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. [...] Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно»⁴⁵.

Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 г., – следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой – разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того, чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С. С. Уварова, обвинив того в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М. Т. Каченовского, но и Н. Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н. М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескопе*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто

⁴² Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 275.

⁴³ Там же. Т. 1. С. 74, письмо от 15 июля 1831 г.

⁴⁴ О философии религии П. Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 37–41.

⁴⁵ Дмитриев М. А. Указ. соч. С. 366, 367.

естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. *Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин* [выд. нами. – А. Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостью воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. [...] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против *Истории Государства Российского* и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву»⁴⁶.

В 1875 г. Вяземский вновь изменил свои взгляды (или, по меньшей мере, публичное суждение) о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и на особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Телескопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 г. (I, 580–581):

«Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на Французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде Московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (*directeur de conscience*). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана»⁴⁷.

Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 г. вернуться на службу, пишет:

«Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубом капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева»⁴⁸.

Однако Вяземский уже в 1831 г. произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» – см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 г., цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего – обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 г.:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного [...]»⁴⁹ (Лемке, 1909: 413).

⁴⁶ 1 Вяземский П. А., кн. (1879) Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. II. 1827 г. – 1851 г. Издание гр. С. Д. Шереметьева. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1879. С. 221, 222.

⁴⁷ Там же. С. 214.

⁴⁸ Гершензон М. О. Указ. соч. С. 439.

⁴⁹ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. Изд. 2-е. – СПб.: Издание С. В. Бунина, 1909. С. 413. Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 г.

Принцип Чаадаева

И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы: от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции, и оскорбление, которое в 1848 г. попытался нанести Чаадаеву П. В. Долгоруков, рассылая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию⁵⁰. – все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».

Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него «систему». У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат *христианской философии истории*. История есть для него создание в мире *Царствия Божия*. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю»⁵¹. Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (II, 69, письмо от 18 сентября 1831 г.).

Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

«Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово *честь* долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово *чести* по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благотворное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши [...].

Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. [...]

Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено»⁵².

В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева – что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом...» или личное знакомство с Чаадаевым в Москве⁵³ – однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаада-

писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» [цит. по: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 167].

⁵⁰ См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 114–115, 371.

⁵¹ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 4-е изд. / Предисл. прот. И. Мейендорфа. – Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 248.

⁵² Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – СПб.: Круга, 2008. С. 75.

⁵³ На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым [...] не поддается удовле-

ева, он демонстрирует незнакомство с его текстами и повествует, опираясь лишь на «устную легенду о Чаадаеве»⁵⁴. На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника»⁵⁵. Биограф кн. Козловского, Г. П. Струве, центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России»⁵⁶. У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации – так, Н. И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 г. из Рима передает известие о своей встрече с князем:

«Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что Русский народ никакого характера не имеет»⁵⁷.

Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева – то, что в первую очередь занимало публику, оказывалось привлекающим внимание не в силу «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны *публичной речи*, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского «религиозного западничества», характерного для времени Александра I⁵⁸. И тем не менее различие принципиально:

«Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривали в этих высказываниях [князя Козловского. – А. Т.] сходство с тем, как виделась Россия в философии Чаадаева. [...] Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело – личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое – идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории»⁵⁹.

Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки – они общие у него с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколения (помимо кн. Козловского можно вспомнить, например, уже упомянутого выше кн. Ивана Гагарина, племянника С. П. Свечиной, с которой Чаадаев был также хорошо знаком и регулярно упоминал о ней в письмах к А. И. Тургеневу, интересуясь новостями о ее парижском салоне, постоянным посетителем которого был его корреспондент), сколько, принимая их как данность, адекватное описание реальности⁶⁰, стремится понять, почему эта реальность такова.

Там, где другие дают практический ответ – принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или по меньшей мере на столь долгий срок, как это окажется возможно – Чаадаев дает

творительному решению» [Мильчина В.А., Осповат А. Л. Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». – СПб.: Крига, 2008. С. 961, ср.: 905].

⁵⁴ Мильчина В. А., Осповат А. Л. Указ. соч. С. 961.

⁵⁵ Там же. С. 767.

⁵⁶ Струве Г. П. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П. Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. С. 39–46.

⁵⁷ Цит. по: Струве Г. П. Указ. соч. С. 40.

⁵⁸ Валицкий А. Россия, католичество и польский вопрос / Пер. с польск., послесл. Е. С. Твердисловой. – М.: Изд-во МГУ, 2012. С. 54, прим. 1 к стр. 53.

⁵⁹ Там же. С. 37, 38.

⁶⁰ Д. Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 г., во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу [...] и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходах глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» [Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 377].

ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.

Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен – Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» (I, 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого семейства имеют свои частные предания, свои особенности – но они части одного целого, напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом:

«Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Если угодно, перед нами тавтология – Россия не имеет истории потому, что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может – частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо», I, 434–440). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не ставится историей:

«Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. [...] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).

Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов:

(1) прошлое и настоящее России исключительно – она исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330);

(2) при этом исключительность эта – целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских;

(3) но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом – и смысл этот провиденциальный;

(4) следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «[...] мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330);

(5) прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325) – этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к

просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека»⁶¹ (I, 330);

(6) разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева – предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов – попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «Христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей – «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.

Из этого вытекает, что именно сама «пустота» – прошлая и настоящая – должна быть осмыслена положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо, но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего: либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.

Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную:

«Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).

Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл – и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой – в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не (только) внешнему зрителю, но

⁶¹ Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движения декабристов», у Чаадаева не делится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся не отправленным письме к И. Д. Якушкину от 2 мая 1836 г. он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его безосновности, данную в первом «Философическом письме...»: «Ах, друг мой, как это попустил Господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог Он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было. Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).

и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту – то это значит, раз история еще не началась для России, что ей суждено начаться.

«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но *универсальное* содержание – любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным, его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств – любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить – и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились:

«Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

Но это же отсутствие «своего», преходящее любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая – оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами...», но и в них же самих – разница в интонации. Если в «Философических письмах...» это приглушено – на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, пронизывающей все, от частной жизни до общего порядка существования во времени⁶², который и объясняет беспорядок первой, то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф.В.И. Шеллингу в 1832 г. Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников:

«бедное настоящим, но богатое будущим [...], великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).

В письме к Николаю I от 1 июля 1833 г. он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо *Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире* [выд. нами. – А. Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше, имеющем принципиальную значимость письме Чаадаева к кн. П. А. Вяземскому от 9 марта 1835 г., в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярной дает название предназначенному им к опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:

«Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелюбезны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния

⁶² Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным только поговорив «сначала еще немного о нашей стране», добавляя: «при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).

суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).

А. И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 г.: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время решение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирая на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92). Между «Философическими письмами...» и последующими текстами нет водораздела – не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 гг. и напечатано в 1836 г. Например, в письме к И. Д. Якушкину, предположительно датированном 1838 г., но, возможно, относящемся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:

«Кто-то сказал, что „нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада“. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда, может быть, перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте, и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками, и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).

Вопреки расхожим представлениям⁶³, исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается, а начинает расти после 1835 г. – «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки»⁶⁴, а, напротив, последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х гг. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии...» на том же представлении о России как о не имеющей прошлого – и именно потому способной иметь будущее:

«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа* и *Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление» (I, 527, ср.: I, 501, фр. 204).

Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться – его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на народ, не имеющий ничего частного – и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета – Папы и императора Александра I⁶⁵, память которого он чтит до самой смерти⁶⁶. В письме к А. И. Тургеневу, приходящемся на осень 1835 г., Чаадаев замечает:

«И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что *ее дело в мире есть политика рода человеческого* [выд. нами. – А. Т.]; что Император Александр прекрасно понял это, и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что *если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей* [выд. нами. – А. Т.]» (II, 96).

Именно в 1835 г., с того времени, как доктрина «народности» провозглашается в качестве официальной и одновременно появляются и распространяются разные ранние изводы националистических доктрин, Чаадаев все более мрачно смотрит на происходящее и на перспективы России с точки зрения своей историософии. Отзываясь на триумфальную постановку «Ско-

⁶³ См., напр.: Валицкий А. Указ. соч. С. 53.

⁶⁴ Вопреки, напр., мнению: Карпович М. М. (2012) Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века) / Пер. с англ. А. И. Кырлежева, Е. Ю. Моховой, вступ. ст. Н.Г.О. Перейры, предисл. С. М. Карповича, примеч. П. А. Трибунского. – М.: Русский путь, 2012. С. 97.

⁶⁵ А. И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 г., увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер[атором] Александром и Папою» (II, 307).

⁶⁶ См., напр., письмо к А. Я. Булгакову от 25 июля 1853 г. (II, 266).

пина-Шуйского» Кукольника в письме к А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г., он быстро переходит от возмущения по поводу драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:

«В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в области понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего это скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. [...] если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).

М. Ф. Орлову Чаадаев писал уже 1837 г., после «философической истории»: «Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей. – А. Т.] кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. *Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтобы бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней*

оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений [выд. нами. – А. Т.].

Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое» (II, 125–126).

Тем не менее и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли – привычно язвя, например, о защите диссертации Ю. Ф. Самарина (II, 168–171, письмо к А. И. Тургеневу от июня 1845 г.) или в письме к де Сиркуру от 1854 г. о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях:

«[...] все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути» (II, 269),

а о скандальной грубости и «простоте нравов» семейства московского генерал-губернатора (с 1848 по 1859 г.) А. А. Закревского⁶⁷ отзывался так:

«Вы знаете, что старый либерализм предыдущего царствования – бессмысленная аномалия в стране, благоговейно преданной своим государям [...], искоренен у нас, слава богу, уже давно; но, к несчастью, кое-что осталось в приемах и в языке людей, которые составляют то, что называют «хорошим обществом». И вот, в настоящих условиях, даже это могло представлять некоторое неудобство в глазах дальновидного администратора. Итак, салоны нового генерал-губернатора, еще недавно место встреч избранного общества, вскоре лишились своих прежних завсегдатаев и наполнились новым обществом, столь же чуждым прежнему, сколько послушным благоразумным требованиям текущего дня. С этой поры там не стали знать другой свободы языка, как та, которую несет с собой нежная легкость нравов, лишенных всякой чопорной стыдливости, любезное наследство эпохи, знаменитой в современной истории Франции. Не могу передать вам все то благо, которое извлекают наши молодые люди из нового режима, который установился в доме градоначальника. В настоящее время нет ничего опаснее, как оставлять молодые умы под властью этих вкусов, слишком прилежных к учению, где бесплодная работа мысли питается всякого рода предметами воображения, и вот любезное гостеприимство семьи нашего генерал-губернатора предложило очаровательное лекарство против этого зла. Веселая фамильярность матери семейства, пленительные манеры дочери произвели настоящий переворот в пользу правого дела в привычках нашей молодежи» (II, 270–271).

Отношение к славянофильству со стороны Чаадаева претерпело изменение во второй половине 1840-х гг., когда он убедился, что националистический поворот не кратковременное увлечение – тогда он попытался встроить его в свое историческое видение, сообщая парижскому корреспонденту:

«Национальная реакция продолжается по-прежнему. Если ей случается иногда слишком увлечься своими собственными созданиями, принять на себя

⁶⁷ См., напр., характеристику: Чичерин Б. Н. Воспоминания. В 2 т. Т. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 191–192, 203.

повадку власти, возомнить себя важной барыней, то не следует за это на нее слишком сердиться. Это черта всех реакций: влюбляться в самое себя, верить слишком слепо в свою правоту, впадать во всякого рода высокомерие, в особенности, когда эти реакции не встречают на своем пути серьезного противодействия, а вы знаете, что противодействие на этой почве в нашей стране почти немислимо. *Идея туземная, т. е. идея исключительно таковая, торжествует, потому что в глубине этой идеи есть правда и добро* [выд. нами. – А. Т.], потому что она, естественно, должна восторжествовать вслед за тем продолжительным подчинением идеям иностранным, из которого мы выходим. *Настанет день, конечно, когда новое сочетание мировых идей с идеями местными положит конец ее торжеству, а до тех пор нужно терпеть ее успехи и даже злоупотребления, которые она при этом допускает* [выд. нами. – А. Т.]» (II, 185, письмо к А. де Сиркуру от 26 апреля 1846 г.).

В годы Крымской войны он вновь вернется к своей однозначно негативной оценке националистических учений, именую их (в первую очередь славянофильство) «ретроспективными утопиями» (*utopies retrospectives*, I, 565⁶⁸) и ставя им в вину сами катастрофические события 1853–1856 гг.:

Правительство «не поощряло их, я знаю; иногда даже оно на удачу давало грубый пинок ногой наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма⁶⁹; тем не менее, оно было убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму» (I, 571–572)⁷⁰.

⁶⁸ Ср.: Чаадаев П. Я. Неопубликованная статья / Предисл. и коммент. [кн.] Д.[И.] Шаховского // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л. Б. Камнева и А. В. Луначарского. – М., Л.: Academia, 1934. – С. 365–390. Данный оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. (II, 145) – в письме к В. А. Жуковскому от 27 мая 1851 г., написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К. С. Аксакова (II, 254).

⁶⁹ Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 г. Ф. В. Чицова, арест в 1849 г. Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 г. 2-го тома «Московского Сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А. С. Хомякова, К. С. и И. С. Аксакова и др. [См.: Цимбаев Н. И. Историософия на развалинах империи. – М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве, 2007. С. 172–173; *Московский сборник* / Изд. подгот. В. Н. Греков. – СПб.: Наука, 2014. С. 860–863, 917–920, 1048–1051].

⁷⁰ Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К. Н. Леонтьева – «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ – такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что Провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились игу его закона, точно так же и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, № 42-а.)

Единственная принципиальная коррективa, внесенная Чаадаевым в свою историософию в последние десятилетия, – это оценка православия. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль: теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое призвание» (I, 500) или, как он ранее, в 1845 г., писал де Сиркуру: «Наша [...] церковь по существу – церковь аскетическая, как ваша по существу – социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете. Это – два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» (II, 174), – но в этой поздней интерпретации не трудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена, допустить его напрасность – значило бы утверждать отсутствие смысла в течении времени, а в осмысленности прошлого Чаадаев никогда не сомневался – собственно, из столкновения этой веры в смысл и зримой, как ему казалось наряду с целым рядом других «религиозных западников» Александровской эпохи и родилась его историософская идея.

В заключение отметим, что сам Чаадаев неоднократно подчеркивал, что «окончил все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (II, 67, письмо к А. С. Пушкину от 17 июня 1831) – тексты, написанные им в последующие двадцать пять лет, корректируют, уточняют сказанное ранее, служат откликом на меняющуюся ситуацию, но не меняют главного, напротив, позволяют его лучше осознать – как неизменный центр посреди множества самых изменчивых суждений.

2. Россия и «другие» в представлениях русских консерваторов

Любой национализм, любая националистическая мысль, намечая определение своей «нации», в первую очередь прибегает к размежеванию с «другими», к противопоставлению, позволяющему негативным образом очертить создаваемую общность. Для такого размежевания сначала нужно понять, какие отличия считаются значимыми, а какие – не имеющими значения и подлежащими исключению из искомой совокупности. Необходимое единство всегда есть единство значимого, устанавливаемое тождество – результат процедуры, сводящей отличия воедино и требующей выбора критериев, которые задают ту или иную дихотомию, так что контуры, очерчивающие нацию, оказываются исторически подвижными, ведь выбранные ранее критерии допускают снятие или отмену.

Для русской консервативной и националистической мысли XIX в. «Европа» и «Запад» служили «значимым другим» едва ли не в большей степени, чем для иных отечественных интеллектуальных направлений, причем функциональные ипостаси этого «другого» были весьма многообразны: от «негативной», побуждающей к отталкиванию, до образца для подражания; сам же образ «Европы» оказывался множественным и темпорально разнородным. На протяжении XIX в. наблюдается процесс конструирования «Европы», собирания данного понятия, с одновременным помещением «России» за его пределы; сопоставление оборачивается противопоставлением: «Россия и Европа». Такой образ Европы вполне предсказуемо оказывается проекцией представлений о России (о том, какой она должна быть); вместе с тем выдвижение на передний план «географических» определений Европы (позже переосмысляемых как «цивилизационные») способствует преодолению прежней, конфессиональной географии: религиозное измерение теперь может быть лишь одной из «культурных» характеристик.

Славянофилы регулярно обнаруживают большую или меньшую близость к консервативной критике «Запада». Прежде всего необходимо остановиться на неопределенности общего понятия «консерватизм», в особенности применительно к отечественным реалиям на протяжении XIX в. Например, тех же «славянофилов» Белинский полемически зачисляет в разряд консерваторов, в том числе и с помощью присвоения им данного названия – отождествления с «шишковистами» и образования фантомной фигуры ретрограда, в которой стираются различия, скажем, между Хомяковым и Погодиным, а затем и отождествления этого обобщенного «консерватора» с апологетом «официальной народности» (которая в свою очередь оказывается в трудноопределимой близости к позициям «крепостников» и т. п.)⁷¹.

Сама возможность подобных отождествлений далеко не случайна. Так, широко известная фраза С. П. Шевырева о «гниении Запада» позже, в полемике 1860–1870-х гг., становится выражением позиций «славянофилов» или «почвенников» (такой перенос примечательным образом оказывается со временем все более корректным). На последнем моменте есть смысл остановиться подробнее. Схождение в ряде пунктов консервативной и националистической установок оказывается возможным благодаря двум основным вариантам аргументации, используемой представителями консервативного лагеря⁷².

Во-первых, консерваторы апеллируют к местной специфике, к собственным «традициям». Такая апелляция предполагает, что нетранслируемость западного опыта вытекает уже

⁷¹ Об истории слова «славянофил» см.: Цимбаев Н. И. Славянофильство. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 14–33.

⁷² Дабы избежать недопонимания, отметим, что данное различие сделано для удобства анализа: на практике оба эти типа аргументации сосуществуют у одного и того же автора, образуя сложные ансамбли, которые требуют специального анализа в каждом конкретном случае; см., например, опыт такого анализа взглядов Н. М. Карамзина, А. С. Шишкова, В. Ф. Ростопчина и С. Н. Глинки: Егерева Т. Русские консерваторы в социокультурном контексте эпохи конца XVIII – первой четверти XIX вв. – М.: Новый хронограф, 2014.

из природы последнего, из его «европейского» характера: опыт этот может сам по себе оцениваться и весьма положительно, но в силу своей чужеродности объявляется непригодным для трансплантации в местную почву. Тем самым подразумевается и невозможность сравнивать между собой реалии, характерные для разных стран (политические, экономические, социальные), ведь каждый элемент реальности – часть «органического целого»: местные недостатки выступают продолжением местных же достоинств, а чужое удачное решение, перенесенное в другие условия, порождает совершенно иной результат. В сущности, данная позиция предполагает полный отказ от сравнения, поскольку сравнивать в этом случае необходимо «целостности», «организмы», а не «совокупности элементов», и допустимым оказывается не сравнение, а лишь соположение, параллельное описание. Далее нужно либо принять тот мир, к которому мы уже принадлежим, либо отвергнуть его, причем вторая возможность рассматривается как чисто гипотетическая, ирреальная. Речь, таким образом, идет о волевом решении, а не о рациональном суждении. Всякое плодотворное действие предполагает принятие уже существующей реальности – и уже исходя из этой реальности, в согласии с ней (опирающемся в первую очередь на нерациональное или не до конца рационализируемое) осуществляется действие. Этот ход мысли фактически укладывается в рамки романтического националистического канона, с его базовой метафорой «отрыва от почвы»: существует угроза выпасть из своего «органического единства», оставаясь, однако, внутри этого единства и его не воспринимая. Именно так обычно описывают русское «образованное общество» славянофилы и так позже будет говорить о положении интеллигенции Достоевский (в начале XIX в. Фихте похоже писал о проникнутых французской культурой высших сословиях Германии). Иными словами, консерватизм в этом варианте апеллирует к уникальному, локальному, несопоставимому, предполагая политическую или интеллектуальную работу с «объектом консервации» в рамках *эстетического* – и тем самым, через эстетическое, соединяясь с романтическим национализмом, не противостоя ему, а образуя другой ракурс обсуждаемого возможного действия, который можно принимать или отвергать исходя из собственной установки, но который не противоречит этому изводу национализма.

И в том, и в другом случае «нечто» («нация», «страна», «государство») становится объектом созерцания – созерцания во времени, которое здесь настойчиво переводится в пространство, развертываясь как скрепленная с этим пространством генеалогия, лента истории, свиток повествования, длительность, представленная рядом стоящих на полке томов. За этим созерцанием могут стоять разные интенции – либо сохранения, либо действия, но сама практика созерцания однотипна, как и практика вовлечения в это созерцание, в наслаждение им, приносящее радость сопричастности с другим, созерцающим то же самое. «Наш» – это тот, кто созерцает тот же объект, кто эстетически переживает один и тот же опыт, с кем я, следовательно, могу его разделить – разделить как понимание, возникающее там, где рациональное согласие неуместно, как «согласие в эмоции», т. е. «единочувствие»⁷³.

Во-вторых, возможна и апелляция к «европейскому», «западному» опыту – но через критику «идеи прогресса», критику «современности», лишаемой положительных коннотаций. В этом случае утверждается образ «двух Европ»: подлинной, исторической, с которой и ассоциирует себя русский консерватизм, и современной, отказавшейся от собственных начал, «изменившей себе». Этот взгляд может транслироваться и вовне: скажем, французам, посещавшим Петербург Николаевской эпохи, придворные балы и приемы напоминают прекрасную эпоху до 1789 г.; показательно и то, что презрительные описания новых придворных нравов, оставленные русскими посетителями Тюильри в 1830–1840-х гг., совпадают с отзывом французской

⁷³ Иное дело, что консерватизм, опираясь на общность переживания, способен культивировать меланхолию, рожденную переживанием утраты (уже наступившей/неизбежной/ожидаемой), в то время как националистическая эмоция нацелена на преодоление меланхолии, «восстановление утраченного», «недопущение гибели» и т. д.

фельетонистки Дельфины де Жирарден, так характеризовавшей министров на королевском балу: «Мало того, что эти господа уродливы от природы, они еще и одеты самым безвкусным образом; они неопрятны и не причесаны; таков их мундир, и другого они не знают. <...> Это возмутительно: они ведут себя, как на заседаниях палаты»⁷⁴. Выстраивается единство с «Европой», с «Западом», терпящим, как кажется, крушение или, самое меньшее, попавшим в тяжелое положение, из которого, однако, есть выход; соответственно, положение России мыслится как особое: она благополучным образом избежала «западных бед», хотя они могут постигнуть и ее в любой момент, как уже постигли Европу. Этот вариант консервативной аргументации весьма близок романтическому национализму славянофилов⁷⁵, который активно вбирает критику «Запада», исходящую от западных авторов (как консервативного, так, например, и социалистического толка). Общеизвестна зависимость славянофильской мысли от Шеллинга, чьи суждения о современном положении Европы оцениваются ими как неоспоримая истина, тогда как его надежды на внутреннее обновление, перерождение Европы признаются безосновательными, так как она не располагает достаточными для этого силами, «новыми началами»⁷⁶. Предсказуемым образом эти «новые начала» усматриваются в России – что открывает следующий, важнейший аспект интерпретации «Европы» через «Россию», которой предстоит осуществить идеальное сопряжение всеобщего (универсального) и специфического.

Собственно, национализмы XIX в. находятся в теснейшей связи с *историзацией* как способом заменить отсутствующую (разрушающуюся) традицию – в тот момент, когда она перемещается в поле зрения, – ведь пока традиция существует, она не проблематизируется, не становится предметом мысли; ее практикуют, а не выбирают, выбору же подлежат конкретные действия или варианты их обоснования. Как писала Ханна Арендт, нить исторической преемственности стала ближайшей заменой традиции, она помогла редуцировать множество разнородных ценностей и противоречивых мыслей, так или иначе влиявших на происходящее, к однонаправленному и «диалектически согласованному развитию», которое было сконструировано для того, чтобы отвергнуть «не столько традицию, сколько авторитет всех традиций»⁷⁷. Все существующее, и даже исключаящее друг друга, получает благодаря такой историзации свой смысл и тем самым оправдание, но только в рамках определенного места и времени. Иными словами, «смыслом вообще» не обладает ничто, за одним исключением, причем в отличие от аристотелевского бога, чистой формы вне времени, исключение это – «Абсолютный дух» или «история», которой надлежит наступить после завершения «предыстории», наделяет

⁷⁴ Цит. по: Мильчина В. А. Париж в 1814–1848 годах: повседневная жизнь. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 89–90 [данный фельетон Д. де Жирарден не вошел в перевод «Парижских писем виконта де Лоне» В. А. Мильчиной (М.: Новое литературное обозрение, 2009)]. – Об отзывах русских посетителей придворных приемов 1830–40-х гг. см. там же. С. 91–96.

⁷⁵ И в еще большей степени – претендующему на преемственность по отношению к славянофилам Конст. Леонтьеву, который объясняет свое расхождение с ними тем, что «пошел дальше»: «<...> на Славянофилов я надеялся как на своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше и дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам, хотя бы вроде моего» См.: Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений в 12 т. Т. VI. Кн. 1: Воспоминания, очерки, автобиографические произведения 1869–1891 гг. / Подгот. текстов В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко. – СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 106.

⁷⁶ Отметим весьма важное изменение в дальнейшем: если для славянофилов согласие с крупнейшими европейскими авторитетами – не только не скрываемое обстоятельство, но и аргумент в пользу собственной позиции (примерно так же Леонтьев неоднократно подчеркивает свою близость к Дж. Ст. Миллю с его пессимистическими оценками процессов демократизации), то к концу XIX в. националистические движения все больше маскируют подобную связь, подчеркивая самобытность не «начал», о которых рассуждали славянофилы, а «мысли», которую, согласно тем же славянофилам, еще надлежало создать (благодаря, в частности, и самокритике западного разума), тогда как для оппонентов становится привычным выявление этой связи, которая обычно интерпретируется как демонстрация «вторичности», «производности» – а значит, противоречия заявляемым тезисам. То сопряжение универсального и национального, которое является фундаментальным в раннем, романтическом русском национализме, сводится на нет из-за отсечения «универсального» и обращения «национального» в голую, налицую фактичность, утверждения «своего» в качестве ценности именно на том основании, что оно «свое».

⁷⁷ Арендт Х. Между прошлым и будущим: Восемь упражнений в политической мысли / Пер. с англ. и нем. Д. Аронсона. – М.: Изд-во ин-та Гайдара, 2014. С. 43.

смыслом что бы то ни было лишь отменяя его собственный смысл, обнаруживающий свой иллюзорный характер. Впрочем, в этой конструкции любые иллюзии могут быть объяснены – здесь все получает обоснование, правда, с той оговоркой, что ложное оказывается столь же обоснованным, как истинное.

Стать нацией в этой системе координат значит отстоять свое место в истории, а право на субъектность, право быть действующим лицом, а не объектом воздействия, оказывается сопряжением универсального и национального. Национальное здесь – это уникальное содержание, которое имеет универсальное значение, сама по себе «особость» не имеет значения, это чистая фактичность: смыслом обладает то особенное, что становится всеобщим. Отсюда важная черта отношения к «другим», характерного для славянофилов 1840–50-х гг.: особое (разумеется, главенствующее, основное) место в истории при всей своей исключительности не выступает в качестве исключаящего, не требует отрицания других, создавая достаточно широкую рамку для помещения их, сосуществующих, в эту иерархичную схему.

В 1847 г. Ив. Киреевский, перечисляя в письме к «московским друзьям» то, что между ними есть «еще разногласного», выделяет несколько пониманий самого имени «славян», которыми эти разногласия и обусловлены: «только язык и единоплеменность», «противоположность европеизму», «стремление к народности» и «стремление к православию». Затруднение, согласно Киреевскому, в том, что не объяснено, есть ли между этими смыслами что-либо общее и не противоречат ли они друг другу?⁷⁸ На эти вопросы в дальнейшем пытаются ответить Хомяков и Конст. Аксаков, которые увязывают «стремление к народности» со всеобщим, универсальным через понимание (наиболее последовательно выраженное Конст. Аксаковым) «русского народа» как народа по преимуществу православного: отсюда мировое начало, которое ему надлежит выразить, это начало самого христианства в его подлинности (народ носит его в себе как свой идеал). А. И. Кошелев в письме к Хомякову выражает эту позицию, фундаментальную для славянофильства, в известной своей резкостью (и оттого предельно четкой формуле): «Без православия наша народность – дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение»⁷⁹.

Из этого вытекает отношение славянофилов к «Западу». Если «Запад» понимается как исторически закрепившийся «принцип», то он не может притязать на обладание истиной и подлежит отвержению, поскольку уклонился от православия в схизме, предпочел начало юридического авторитета началу «внутренней правды» и, следуя по пути рационализма, пришел к индивидуализму протестантских учений, которые считают веру делом личного убеждения⁸⁰. Что же касается эмпирического «Запада» (в данном контексте, кстати, это слово используется куда реже, славянофилы предпочитают говорить о конкретных странах), то надежда состоит в том, что населяющие его народы убедятся в ложности своих, «западных» в первом значении слова, начал и в истине православия, которое никоим образом не сводится к «русской вере» в «племенном» смысле – напротив, подразумевается, что русский народ столь полно вместил православие, что достиг абсолютного совпадения вселенского христианства и своей веры, так что «местных начал», привносимых в христианское учение, здесь попросту нет. Отсюда большое внимание к попыткам англиканина Пальмера перейти в православие и содействие этим попыткам, вообще надежды на воссоединение с православной церковью англи-

⁷⁸ Киреевский И. В. Полное собрание сочинений в 2 т. Т. 2 / Под ред. М. О. Гершензона. – М.: Путь, 1911. С. 247.

⁷⁹ Цит. по: Бердяев Н. А. Константин Леонтьев. Алексей Степанович Хомяков. – М.: АСТ, 2007. С. 247.

⁸⁰ Хрестоматийные рассуждения этого рода (восходящие к консервативной французской и немецкой литературе 1820–1830-х гг.) даны Хомяковым в трех «французских брошюрах» [Хомяков А. С. Сочинения в 2 т. Т. 2: Работы по богословию. – М.: Медиум, 1994. С. 25–195]; в дальнейшем они многократно воспроизводились в славянофильской и околославянофильской литературе; см., напр., несколько смягченный вариант: Иванцов-Платонов А. М. О римском католицизме и его отношениях к православию: Очерк истории вероучения, богослужения, внутреннего устройства Римско-Католической Церкви и ее отношений к православному Востоку. В 2 ч. – М.: Общество распространения полезных книг, 1869, 1870.

канской⁸¹, а затем, после I Ватиканского собора, упования, связанные со старокатолическим движением⁸².

Из совмещения этих двух планов вытекала вполне предсказуемая ментальная география: двумя негативными центрами выступали «Рим» и «Париж» (или «Франция» в целом), а «Англия» либо наделялась положительными коннотациями, либо вовсе, по аналогии с «Россией», исключалась из пространства «Европы». В ситуации кризисов данная схема предсказуемым образом радикально упрощалась: «эмпирический Запад» заменялся «Западом» как принципом. Особенно ярко это проявилось во время Крымской войны, которая была осмыслена как война религиозная: враждебность европейских держав, поддержавших Османскую империю и выступивших в защиту сохранения ее власти над христианскими подданными, интерпретировалась как демонстрация истинной сущности; особенное возмущение вызвала молитва Папы Римского за союзные войска, воспринятая как молитва за турецкого султана⁸³. Аналогичная радикальная интерпретация столкновения «России» и «Запада» вышла на передний план также в ходе балканского кризиса 1875–1876 гг. и последовавшей за ним русско-турецкой войны 1877–1878 гг., завершившейся относительно неудачным для Российской империи мирным урегулированием на Берлинском конгрессе в 1878 г. Ухудшающееся внешнеполитическое положение Российской империи, которая в силу объективных причин (в первую очередь экономического отставания, связанного с запоздалым и трудным переходом от аграрной экономики традиционного типа к индустриальной) постепенно утрачивала свои позиции, непреодолимый разрыв между амбициями и реальными возможностями – все это подпитывало склонность к восприятию новой ситуации как тотального противостояния «Западу».

Однако те же «восточные кризисы» высвечивают и другой, куда более существенный момент в славянофильской системе координат: настойчивое включение и «Запада» и «России» в общее пространство тех, кто имеет право действовать, в число политических субъектов, противопоставляющихся «Востоку» как объекту воздействия. Одной из причин острой реакции славянофилов, например, на официальный порядок Парижского мирного конгресса 1856 г. было уравнивание Османской Порты с другими державами-участницами. В ситуации балканского кризиса 1875–1878 гг. возмущение вызывали сами попытки интерпретировать конфликт как столкновение сопоставимых субъектов, юридически уравнивать христианское население и мусульман, не говоря уже о рассуждениях, упоминавших «права султана». Вообще «власть султана» с этой точки зрения представлялась лишь фактическим положением вещей, но никак не его «правом».

Эта особенность восприятия позволяет выявить еще одну составляющую отношения славянофилов к иным странам и народам. Славянофилы принадлежали, пожалуй, к первому вполне европеизированному поколению. Поскольку перед ними больше не стояло задачи «вхождения в европейскую культуру» – эта культура была тем, в чем они выросли, вне чего себя не мыслили, – то, соответственно, дело для них идет не о «внешнем» отношении к «Европе», а о своем месте внутри этого пространства. Отсюда заглавие недолговечного журнала Ив. Киреевского: «Европеец». Задача теперь не в том, чтобы «стать европейцем», а в том, каким именно европейцем быть.

⁸¹ Для русской дворянской культуры того времени было характерно увлечение Англией, «англомания» разного рода, отразившаяся и на взглядах славянофилов, сильнее всего у А. С. Хомякова, не только говорившего по-английски с домохозяевами и обращавшегося в письмах к жене «Dear Kit у», но и, в силу своих симпатий, пытавшегося утверждать славянское происхождение англичан и находившего в их истории явно «славянские» черты, а в языке, соответственно, славянские корни.

⁸² См., в частности, ценные замечания на этот счет в недавней работе, посвященной генералу А. А. Кирееву, одному из поздних славянофилов, вплоть до 1900-х игравшему большую роль во всех вопросах, связанных со старокатолическим движением: Медоваров М. В. А. А. Киреев в общественно-политической жизни России второй половины XIX – начала XX в.: Дисс. на соискание степени к. ист. н. – Нижний Новгород, 2013. С. 159–175.

⁸³ Напомним, что именно осмысление реакции европейских государств и, что важнее, обществ на русско-турецкую войну 1853–1856 гг. становится отправной точкой для «России и Европы» Н. Я. Данилевского.

Столь глубокая включенность в европейскую культуру оборачивается невозможностью «быть европейцем», следуя жестко определенной модели поведения, мыслей, чувств и т. д... Речь не о какой-то отдельной практике, которую можно механически перенять. Вновь намечается выбор. Можно бесповоротно «сбежать» в эту культуру, во всех смыслах переместиться в Европу⁸⁴. Можно переосмыслить свое положение на иной основе. Быть «европейцем» означает быть «немцем», «французом», «англичанином», – следовательно, здесь, в России, быть «европейцем» означает быть «русским». Неадекватность тех, кто оппонирует славянофилам, как раз в том, что считающий себя «европейцем» таковым не является, ибо притязает быть «европейцем вообще», а подобный тип не только не существует, но и не имеет шансов осуществиться: он экстерриториален и каждый раз должен начинать заново, он не способен основать традицию, разве что традицию отсутствия традиции, – впрочем, в этом идейном плане более чем устойчивую. Парадоксальным образом «европеец вообще» оказывается тождествен образцу «русского», созданному Чаадаевым в первом «Философическом письме», – человеку без места, без прошлого, который существует лишь настоящим, тем, что признается «современностью» в данный момент, и отбрасывает это настоящее в следующий момент, поскольку оно успело стать «прошлым». А так как оно и в качестве настоящего было лишь подручным средством, «фасадом», то, отодвинувшись во времени, утратило свое единственное обоснование, находящееся вовне, там же, где источник «современности». Попытка сохранить такое настоящее предстает двойной изменой: и своему, и чужому. Ведь верность чужому прошлому в тот момент, когда оно было современностью, апеллировала, согласно самому Чаадаеву, не к истинному содержанию этого прошлого, а к тому, что представлялось тогда «современным» реципиенту. Иначе говоря, в рамках славянофильской перспективы стать «европейцем» можно только в том случае, если стать «русским», и попытка быть «европейцем» оказывается как раз демонстрацией своей чуждости «Европе». То, что для части образованного слоя выглядело радикальным «западничеством», в глазах его другой, правда, меньшей части представало самодиагностикой оппонентов.

Дальше, однако, возникает вопрос о наполнении этой «русскости», которого мы касались выше. Ранние славянофилы на какое-то время решают его более или менее эффективно, через уравнение «русского» и «православного», но это решение оказывается исторически недолговечным: «православие» все чаще сужается до пределов русского православия, в отличие от характерного для славянофилов интереса к другим православным поместным церквям. В дальнейшем констатируется расхождение вполне православного русского идеала и действительности, столь далекой от совершенства, и это приводит к последовательной коррекции идеального путем сближения с действительным. В известной заметке 1876 г., предвосхищающей ключевую тему «Пушкинской речи», Достоевский пишет: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте и вы согласитесь, что Славянофилы признавали то же самое, – вот почему и звали нас быть

⁸⁴ Так поступает представитель противоположного лагеря В. С. Печерин: перестает быть «русским», становится «личностью», «человеком». Остаться в России для него значит либо разрушаться, постоянно переживать недоступность быть тем, кто ты есть, либо утратить приобретенное, слиться с окружающим миром. Одновременно быть «европейцем» и находиться в России для него невыносимо, такой выбор в представлении Печерина может быть только способом выживания, а не способом жизни, – к тому же с малыми шансами на успех. 10 ноября 1871 г Печерин писал другу своей молодости Ф. В. Чижову: «Я бежал из России как бегут из замкнутого города. Тут нечего рассуждать – чума никого не щадит, особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером я бы непременно сделался подлецим верноподданным чиновником или попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал, не оглядываясь, для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство» [Печерин В.С. *Apologia pro vita mea*. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / Отв. ред. и сост. С. Л. Чернов. – СПб.: Нестор-История, 2011. С. 290].

строже, тверже и ответственнее русскими, – именно понимая, что всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского»⁸⁵.

Поразительным образом рассуждение Достоевского приводит к цели, которая противоположна заявленной, – именно «всечеловечность» оказывается уникальной, специфической чертой России и русского народа, способностью, благодаря которой «всякий европейски поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России»⁸⁶. При прозрачной генеалогической связи этой идеи с представлениями Конст. Аксакова (и, в меньшей степени, других славянофилов), перемена принципиальная. У Аксакова речь идет о «религиозном призвании» русского народа, который ради этого призвания (добровольно или по природе – в данном случае не суть важно) отказывается, например, от стремлений политических, от государственного властвования; мессианство здесь если и присутствует, то лишь «в потенции». Напротив, у Достоевского мессианская идея оказывается основополагающей: Россия оборачивается неким «Христом» среди стран, а русский народ – «Христом» среди народов⁸⁷.

Показательно, что из-за меняющейся ситуации, по мере осознания нереальности славянофильского национального проекта⁸⁸, прежний концепт распадается на (1) подчеркнута натуралистическую («позитивистскую») интерпретацию Н. Я. Данилевского, где «Европа» выступает наряду с «Россией» в качестве «культурно-исторического типа», обладающего своим сроком существования и своими преимуществами, обеспечивающими временный исторический успех, – т. е. взаимодействие описывается как противостояние этих типов, конкурирующих за один и тот же ресурс, и (2) мессианскую интерпретацию Достоевского. Если для консервативной или ранней славянофильской мысли «Европа» и «Запад»⁸⁹ выступают объектом, который не требует конкретизации, унификации описания и т. д., а его противопоставление «России» актуализируется лишь там, где обосновывается отсутствие «единых законов истории», отсутствие необходимости для России двигаться по «европейскому пути», принимать то, что является или представляется общеевропейской тенденцией, – то в более поздней националистической мысли этот объект сводится к нескольким жестким характерологическим чертам, противопоставленным «России», и выполняет мобилизующую роль уже в повседневной ситуации, в рамках зарождающейся массовой политики.

⁸⁵ Достоевский Ф. М. Дневник писателя [1876, июнь, гл. 1] / Подгот. текста, сост., прим., вступ. ст. и коммент. Т. А. Касаткиной // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 9 т. Т. 9. Кн. 1. – М.: Астрель; АСТ, 2004. С. 341.

⁸⁶ Там же. С. 341.

⁸⁷ С другой стороны, суждение Достоевского нетрудно спроецировать в плоскость, намеченную Конст. Аксаковым и Хомяковым. Важно, однако, что они эту возможность не реализуют – иными словами, «русский народ» у них оказывается не просто тем, кто наиболее адекватно раскрывает христианство и пролагает путь к универсализации этой практики общежития, а народом «уникальным» в смысле несообщаемости, непередаваемости своего опыта. В данном случае та модификация славянофильских воззрений, которая предложена Достоевским, сближается с принципиально иными, на первый взгляд, построениями Н. Я. Данилевского и Н. Н. Страхова, также наследующими славянофильству.

⁸⁸ См.: Тесля А. А. Политическая философия славянофилов: движение «вправо» // Тесля А. А. Первый русский национализм... и другие. – М.: Европа, 2014. С. 56–72.

⁸⁹ При этом «европейское» обычно отождествляется с «западным», и, как уже сказано, используются европейские самоописания.

Приложение

Русские консерваторы в быту

[Рец.:] *Егерева Т. А.* Русские консерваторы в социокультурном контексте эпохи конца XVIII – первой четверти XIX вв. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 416 с. – тираж 550 экз.

История отечественного консерватизма в последние полтора десятилетия находится в поле все возрастающего внимания – причем, если на первом этапе интерес в основном вызывали фигуры и дебаты конца XIX – первых десятилетий XX в. (основное «событие», революция 1917 г., представлялась и тем, что в первую очередь требует (пере)осмысления, и тем, причины и следствия чего, в том числе и интеллектуальные, следует искать преимущественно в ближней перспективе, вглядываясь в интеллектуальные и житейские траектории ее участников и полемистов), то постепенно горизонт исследований раздвигался, включая все более ранние эпизоды. С конца 2000-х ощутимо выросло число как публикаций первоисточников, так и исследований, посвященных раннему русскому консерватизму, эпохе с 1790-х до 1830-х гг., – на этом фоне опыт концептуализации и контекстуализации, предпринятый Т. А. Егеревой, весьма актуален. В своем исследовании она сосредоточивает внимание на четырех фигурах, квалифицируемых ею в качестве «русских консерваторов», – это Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин и С. Н. Глинка, персонажи давно и многогранно изучаемые. Новизна подхода, предлагаемого Т. А. Егеревой, состоит в стремлении рассмотреть их как некие способы «быть консерватором» на разных «этажах» (стр. 11): от становления личности, семейных отношений и «экзистенциальных исканий» (гл. 1) – к социальной самоидентификации (гл. 2) и к отношению к прошлому и настоящему Российской империи и представлениям об идеальной форме государственного строя (гл. 3).

Если консерватизм, одна из трех «больших идеологий» XIX в., формировался как реакция на события Французской революции, то в Российской империи ранний консерватизм специфичен тем, что его ближайшим оппонентом выступала государственная власть – именно ее действия и, что еще важнее, ее идеологическая программа воспринимались как направленные на разрушение существующего порядка. В этом отношении логика действий основных персонажей монографии Т. А. Егеревой – Н. М. Карамзина, В. Ф. Ростопчина и А. С. Шишкова – принципиально совпадала в стремлении повлиять на власть, внушить правительству консервативную программу, т. е. в первую очередь противодействовать проводимым или ожидаемым преобразованиям. Иначе говоря, программу эту можно сформулировать как «защиту власти от нее же самой». Карамзин уже в 1802 г. писал в «Вестнике Европы»: «Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих, что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства <...> что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы моральному и политическому миру, должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума» (стр. 288). Но в результате проблемными оказываются прежние легитимистские установки: в логике консерваторов не менее, чем в логике либералов, а в силу оппозиционности – и гораздо отчетливее – происходит отделение государства от персоны монарха, ослабление династического принципа и одновременно – осмысление государства как неоднородного политического целого, его предшествующих успехов как результата и приобретения определенных групп, находящихся друг с другом в сложных отношениях, изменение баланса между которыми (в данном случае – по инициативе

верховой власти) способно разрушить само это целое. Ценности, защищаемые как «патриархальные», присущие «русскому народу», оказываются несущими принципиально новое содержание: «гражданственную жертвенность русских жизнью и имуществом на благо Отечества (по аналогии со знаменитыми героями античности); неподкупность судов, руководствующихся только законом; служение каждого, начиная от государя и до последнего земледельца, “общему благу” <...>» (стр. 361).

Консервативное содержание здесь проявляется в политической логике – данные ценности утверждаются как антропологические, не требующие соответствующей институционализации, меняться надлежит человеку, а уже через него обществу, само же изменение оказывается возможным в данном контексте за счет своеобразного хода, совмещающего черты «просвещенчества» и «романтизма»: эти ценности провозглашаются от природы присущими «русскому народу» и тем самым возвращение к ним – преодоление искусственного, наносного, искажающего здоровую природу.

Примечательно, что, в отличие от последующей романтической логики национализма, приписывание данных качеств «русскому народу» (или, специфицируя, «русскому дворянству», «русскому мужику») не движется в рамках исключения других групп и общностей – т. е. противопоставление другим здесь не принципиально, за исключением противопоставления врагу. В последнем отношении показательны «народные» тексты Ростопчина (1807–1812), где «француз», а иногда и «немец» будет выступать антиподом, но и в этом случае фигура антагониста подробно не прописывается, он вызывает лишь презрение, в силу своей лишенности, ущербности, тогда как «русский» описывается в итоге как приближающийся к «антропологическому идеалу». Напротив, ни у Карамзина, ни у Шишкова мы не встретим подобной актуализации противопоставления и негативной идентификации – жест утверждения оказывается первостепенным по отношению к жесту размежевания, при этом сама «русскость» воспринимается беспроблемно – показательно в этом отношении знаменитое предисловие (помечено 7. XII.1815) к «Истории государства Российского», в котором Карамзин обосновывает важность и ценность отечественной истории тем, что «личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. <...> имя Русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона»⁹⁰. Это интерес естественный, поскольку интерес к «своему», которое объективно не может сравниться с Античностью: «Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не Русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей»⁹¹, но не лишена она и общего интереса: «смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних»⁹². То есть «русскость» здесь работает не как исключение, а, напротив, как утверждение равенства в ряду других народов – аргумент, направленный против просвещенческой установки на авторитарную монополию истины и на право принуждать от ее имени. Т. А. Егеревы отмечает ситуативный характер «интереса к “национальному”»: <...> когда французская опасность миновала, националистическая риторика изучаемых деятелей пошла на спад. Глинка вновь, как и в молодости, стал “обожителем” французов, Карамзин тоже возвратился к своим прежним взглядам, высказанным в “Письмах русского путешественника”, о приоритете общемирового над национальным, и в своей программной речи в 1818 г. призвал соотечественников “идти рядом с другими к цели всемирной для человечества”» (стр. 361) – последняя формулировка нам представляется не точной, в силу противопоставления «национального» и «цели всемирной», в чем ни Гердер, ни Фихте, ни братья Шлегель не увидели бы противоречия, равно как нет его и для Карам-

⁹⁰ Карамзин М. Н. История государства Российского. Т. I. – М.: Наука, 1989. С. 14.

⁹¹ Там же. С. 15.

⁹² Там же.

зина, что можно видеть из упомянутого выше предисловия к «Истории...». Куда важнее, по нашему мнению, та специфическая черта интереса к «национальному» со стороны Карамзина, что «национальное» для него фактически остается еще в рамках категориального аппарата предшествующей эпохи, ограниченным «дворянской нацией», регулятивом которой, в соответствии с расхожими представлениями, должен быть принцип «чести» и которая при этом не нуждается в представительстве и свободна от двора, т. е. идеал частной жизни (и возможности удаления в нее – как гарантии свободы, поскольку человек придворный свободен быть не может).

В плане «интереса к “национальному”» весьма значимым становится наличие внутренней близости при внешнем расхождении Карамзина и Шишкова в споре о русском языке – поскольку и для того и для другого язык должен был объединять политическое пространство. Но если для Карамзина, отмечает со ссылкой на О. А. Проскурина Т. А. Егерева, речь шла о кодификации языка образованного общества, язык должен был стать «равно пригодным и для изящной словесности и для разговора в хорошем обществе», то Шишков, стремящийся «упорядочить литературный язык только как язык книжный», в то же время сам этот книжный язык стремился сделать универсальным для «культурно разъединенных “народа” и дворянской элиты» (стр. 229).

Занятие идеологической позиции в ситуации отсутствия публичной политики уже само по себе становится политическим действием. В начале XIX в. в Российской империи еще нет пространства общественной дискуссии (даже в том его виде, как оно сложится к 1830-м гг., в виде системы кружков и салонов, практически отсутствует пресса), и консерваторы, стремясь воздействовать на власть, пытаются найти опоры, общности, от которых они могут говорить, оказываясь одними из основных действующих лиц формирующегося общественного мнения. Дальше всего здесь зашел Ф. В. Ростопчин – его известные «афишки» вызвали не только весьма разнородную реакцию, но и со стороны в целом сочувствующих его направлению лиц опасения по поводу опасного демократизма, стремления непосредственно обратиться к «народу» и вызвать его к действию в обход существующих институций.

Выделяя наиболее характерную особенность раннего русского консерватизма, Т. А. Егерева отмечает: он находится едва ли не всецело на уровне идей, не переходя в жизненные практики. Т. е. консерватизм здесь – именно позиция, ограниченная исключительно политической сферой, иные области существования остаются независимыми от данного политического выбора. На основании консервативных политических взглядов того или иного лица невозможно умозаключить не только о формах его семейной и светской жизни, но равно нет оснований и для проекции даже в область представлений о должном в этих сферах. Отсюда следует, что «консерватор» той эпохи не переживает характерного для последующей эпохи (1840-х гг.) разрыва между своим образом жизни и тем, каким ему надлежит быть. Исследовательница пишет: «<...> практики повседневной жизни русских консерваторов прямо противоречили их теоретическим конструктам. Соответственно, и от других дворян они не требовали “опрошения” или отказа от высокой культуры ради слияния с “народом”, скорее, они пропагандировали лишь знание и уважение “народных” традиций. Как писал Шишков, “мы не для того обрили бороды, чтобы презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и ныне с бородами, не для того надели короткое немецкое платье, дабы гнушаться теми, у которых длинные зипуны”» (стр. 243). Примечательно, впрочем, не столько само отмеченное противоречие, а то обстоятельство, что оно не воспринималось в качестве такового самими консерваторами, поскольку они в данном отношении остаются людьми «старого режима» и именно защита его вынуждает их к интеллектуальным новациям политического плана (в том числе и к пересмотру прежних, просвещенческих установок). В этих рамках общество мыслится как сословное, что не требует обоснования (и в чем нет противоречия с тезисом о равенстве людей, поскольку равенство и иерархия относятся к разным реалиям, пребывают в разных плоскостях), и каждое

из сословий имеет свой этос, свои добродетели, свой образ жизни – напряжение проявляется в том, что теперь все эти сословия должны воспринимать себя одновременно как части одной общности, т. е. национальная идентификация должна превалировать над сословной, но оно еще не очень велико, чтобы требовать незамедлительной реакции – так и для Шишкова, наиболее отчетливо фиксирующего этот уровень проблем, дело ограничивается языковой общностью и отсутствием «презрения» к иным.

Собственно, основная ценность работы – скорее отрицательного плана, в последовательной демонстрации отсутствия какого бы то ни было «способа быть консерватором» для рассматриваемого периода: консерватизм здесь выступает еще прямой интеллектуальной и политической реакцией на актуальную ситуацию, не предполагая особых моделей личности, стилей жизненного поведения, форм религиозности и т. д., и, отметим, допуская, соответственно, возможность изменения политических взглядов, не ставя под вопрос личностную идентичность.

Между своими

[Рец.:] *Шокаева А.* Дворянская семья: культура общения. Русское столичное дворянство первой половины XIX века. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – (Серия: «Культура повседневности»).

С точки зрения истории русской культуры «дворянским» в ней можно назвать по преимуществу XIX век, хотя вся вторая его половина – время громких сетований на «упадок дворянства», утрату им своих позиций, приход сначала «разночинца», а затем «интеллигента» в качестве центральной фигуры общественного внимания и влияния. А в первой половине столетия влияние дворянства убывает хоть и менее заметно, но чувствительно – чиновник вытесняет дворянина, и хоть сам и есть дворянин или выслуживает дворянство, поднимаясь по лестнице чинов, но как раз с точки зрения дворянской культуры «чиновник» – понятие скорее противоположное «дворянину», можно, служа, оставаться дворянином, исполняя чиновничьи обязанности, а можно стать в первую очередь чиновником.

На этом моменте следует сразу же остановиться подробнее – «дворянин» (в данном случае мы говорим не о «дворянине» как о юридическом статусе, но о культурном, т. е. в той мере, в какой данное лицо воспринимается и воспринимает себя как носителя дворянской культуры), разумеется, весьма часто служит в каком-нибудь министерском департаменте, отделении сената или казенной палате, но он не определяет себя через это.

Определяем мы себя через тех, кого рассматриваем и кто рассматривает в качестве «своих»: в этом смысле для дворянина базовым является принадлежность к «дворянскому обществу», а все прочие характеристики – как, например, если не обязанность, то крайняя желательность для дворянина служить, по статской или, предпочтительнее, по военной линии – вытекают из представлений его круга. Причем представления могут существенно расходиться с реалиями: так, в случае с той же службой на всем протяжении 1-й половины XIX в. одобряемым, похвальным, соответствующим дворянскому статусу выбором была служба военная – если позволяли родственные связи и средства, то в гвардии, если нет, то в армии, хотя на практике уже в 1830-е многие признавали, что служба статская и выгоднее, а иногда даже перспективнее военной. Не говоря уже о том, что вообще не служить было теоретически возможно, но на практике встречалось крайне редко независимо от материальных обстоятельств (для большинства дворян служба – в данном случае жалованье и иные доходы, от нее получаемые, была необходимым дополнением к доходам от имения). В глазах дворянского общества человек, нигде и никогда не служивший, оказывался не классифицируем, выпадал из существующей сетки понятий – к нему даже сложно было понять, как обращаться, поскольку форма обращения зависела от чина по Табели о рангах. И не только к нему, но и к его супруге, если он,

ведя столь странный образ жизни, тем не менее сумел найти себе жену: статус женщины определялся по мужу, отсюда «надворные», «статские» и «действительные статские советницы», «генеральши» и «полковницы» классической русской литературы. Так что даже решительно не имея желания к военной службе для дворянина было типично отслужить несколько лет, с тем, чтобы получив первый чин немедленно выйти в отставку и поселиться у себя в имении, чин был потребен и для того, чтобы в дальнейшем служить «по выборам», у себя в уезде и губернии – даже если не полных двадцати лет юнкер или корнет и не задумывался об этой перспективе, то на этом настаивали бы его родные, понудив его повременить с отставкой.

И здесь мы как раз выходим на ключевую тему книги Алины Шокаревой – «дворянская семья» в 1-й половине XIX в. оказывается феноменом хотя по преимуществу и частной, но далеко не только и не столько интимной сферы – семейные связи и отношения определяют функционирование многих областей реальности того времени, весьма далеких внешне от нее, начиная с самого заметного – устройства высшей власти: в монархическом государстве «Фамилия» с заглавной буквы означает правящее семейство – значима не только фигура государя, но и все семейство имеет свою роль, свои права, возможности и обязанности в управлении. Напомню лишь хрестоматийный анекдот в силу его характерности: когда в 1828 г. скончалась вдовствующая императрица Мария Федоровна, то один подвыпивший офицер всхлипывал и восклицал с пьяными слезами:

– Кто же теперь у нас будет вдовствующей императрицей?

Вопрос был далеко не праздный, поскольку в ведении Марии Федоровны находились благотворительные заведения империи, после ее смерти перешедшие в управление IV отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и сначала неофициально, а с 1854 г. и официально именовавшиеся «Ведомством учреждений императрицы Марии Федоровны». Патронаж же во всем, не касавшемся непосредственно хозяйственной части, перешел к Александре Федоровне, ее невестке.

Родство налагало вполне конкретные обязательства – так, в популярном романе А. К. Шелера-Михайлова «Лес рубят – щепки летят», вышедшем, правда, позднее, в самом начале 1870-х, но описывающем как раз времена перед Крымской войной, главный отрицательный персонаж весьма не расположен оказать помощь семье своего умершего брата – но в итоге, тем не менее, оказывает ее, опасаясь крайне нежелательной для него реакции окружающих и начальства, если станет известно, что он ничего не сделал для вдовы брата и ее детей. Отрицательность же персонажа вновь подчеркивается тем, что в этом случае он ограничивается лишь минимально-приемлемым.

Прямые обязанности, впрочем, были в том случае, когда и родство было прямое – «счестся родством» можно было почти всегда, учитывая разветвленность и многодетность большинства дворянских семей, однако важно отметить, что роль играла не сама возможность (в крайнем случае за достаточное основание для включения в круг можно было принять самое отдаленное родство, свойство, соседство или сослуживство), а желание «счестся». «Считаться родством» начинали с теми, кого желали или были согласны принять в свой круг – о родстве, и это необходимо иметь в виду, как вспоминали, так и забывали.

Описывая различие дворянских обществ двух столиц, Алина Шокарева приводит выразительную цитату из воспоминаний Е. П. Янковой (в записи ее внука Д. Д. Благово, архим. Пимена):

«кто позначительнее и побогаче – все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихоненько и живут бедненько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. [...] Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет: не по имени живут» (цит. по: стр. 31).

В этом предельно насыщенном отрывке выстроена целая понятийная сетка – жить помещански значит «жить про себя», вне общества, тогда как «барская» жизнь – это «жизнь с другими», открытость дома и в свою очередь включенность в общество (в смысле «хорошего общества»). Соответственно, раскрывается понятие «имени» и жизни в соответствии с ним: есть носители соответствующих имен, но они не «люди», т. е. не включены в соответствующую их «имени» сеть отношений, не ведут себя так, как требует от них «статус» их «имени». О том же с другого ракурса писал В. А. Вонлярский, отмечавший, «что в Петербурге каждый живет, как хочет и как может, – вращается в своем кругу, в своем ограниченном обществе. Молодые люди (потенциальные женихи) могли быть приняты всюду, в то время как их родственники не посещают всех великосветских домов. В Москве же обязательно нужно принимать всех, со всеми общаться, всем отплачивать визитами, не то кто-нибудь будет обижен, про вас наговорят невесть что и ваша репутация может сильно пострадать» (стр. 34). В этом смысле «дворянский мир» из столиц вполне существовал только в Москве – образуя единую систему, скрепляемую старыми большими барами, местами их общения, начиная с хрестоматийного Англицкого колба, и далее расходящимися кругами, тогда как Петербург, с одной стороны, оказывался связан скорее придворной оптикой, т. е. взглядом из центра, не столько через систему взаимного признания, сколько признания извне, от государя, а с другой – местом во властной, все более бюрократизирующейся иерархии. Москва и Петербург оказывались взаимосвязаны таким образом, что связи выстраивались и укреплялись в Москве – там можно было реализовать положение, занятое в административной сфере или придворной, например, найти невесту – и, напротив, обрета или укрепив связи в Москве, напомнив о своем сыне всем родственникам и знакомым, обеспечить ему зачисление на хорошую должность в Петербурге или из Петербурга, определить благосклонное внимание начальства или побудить его, напротив, быть не очень внимательным к шалостям чада.

Подробно и с богатой фактурой описывая формы и ритуалы повседневного дворянского общения в столицах, Шокарева замечательно выводит на передний план их значение, с одной стороны, как инструмента определения «своих» и отсеечения «чужаков» – сложность дворянской культуры, ее дистилированность возрастает по мере того, как само дворянство постепенно утрачивает свои позиции. «Благородной сдержанности», умению вести непринужденный разговор, быть не скучным и не обременительным для другого, выдерживать приличия в семье даже в том случае, когда ее члены испытывают друг к другу чувства весьма отличные от тех, которые им надлежит питать согласно представлениям о семье – всему этому невозможно научиться в зрелом возрасте, практически невозможно приобрести, придя со стороны. Именно поэтому в первую очередь подчеркиваются детали вроде бы незначительные – особенность выговора, умение сесть на стул или поместить свое тело в кресло, но вместе с тем и другие характеристики, как, например, умение не увлекаться в общении с другими тем, что увлекает тебя и плавность переходов от одного предмета к другому, пока он не успел наскучить – все это помогает сглаживать различия; нормы и приличия позволяют уживаться вместе совершенно разным людям – и в этом второе выделяемое значение описываемых форм и ритуалов, смягчающих отношения между людьми. Приличия позволяют конфликтам не выходить на поверхность, т. е., собственно, не становиться конфликтами – неприязнь между родственниками, пока не доходила до крайности, оставалась сдерживаемой привычными и тщательно поддерживаемыми этикетными нормами – так, крайняя степень раздражения могла выражаться, напротив, в подчеркнутой вежливости, которая, в свою очередь, оберегала границу личного пространства (и других от того, что находится в последнем).

Понятно, что все это истинно лишь относительно – так, исследовательница отмечает:

«При больших доходах всякое отступление от великосветских манер принималось за невинную шалость и милую особенность. Зато соблюдение

правил и радушие у крезов превозносились как невиданные добродетели» (стр. 96).

Понятие «чести» существует лишь между равными – и в том случае, когда сообщество контролирует доступ в свой состав новых лиц. В этом отношении русское дворянство представляет собой любопытный феномен, не только весьма кратковременный (с конца XVIII в., от Манифеста 1762 г. и Жалованной грамоты 1785 г.), но и во многом сформировавшийся через стремление быть признанными внешним взглядом – западноевропейским дворянством. Тому, что значит быть дворянином, учились как у домашних наставников, так и по книгам и в путешествиях – включенность в европейский мир побуждала самую высшую власть ограничивать себя до известного предела: чтобы не быть уравненной с деспотиями, она нуждалась в окружении другими, теми, среди кого, отчасти лукавя (но это лукавство как раз и предполагает признание правил игры, утверждение нормативности ситуации), могла считать себя лишь «первой средь равных», именовать себя «казанской помещицей», «московским дворянином».

3. Отсталый человек

Николай Алексеевич Полевой (22.VI/3.VII.1796– 22.II/6.III.1846) в свое время был не просто одним из известнейших русских журналистов, но и из тех немногих людей, которые отражали сам ход времени, его интеллектуальных влечений и склонностей. Его брат и биограф Ксенофонт – один из самых близких к нему, тот, с кем вместе он девять лет издавал лучший из существовавших тогда, по признанию даже тех недругов, что были способны отдавать должное, русский журнал «Московский Телеграф» – так определял Полевого:

«[...] он был передовой человек в нашей литературе, начинатель всякого успеха, бывшего на очереди. Нельзя отрицать событий, и потому нельзя не согласиться, что он был преобразователем многих отраслей нашей литературы, и успехи его в этом происходили от того, что он глядел на все светлым взглядом, видел то, чего не видели другие, а при неусыпной деятельности своей беспрерывно стремился к новым успехам. Проложив дорогу в одном направлении, он начинал работать в другом и за каждое предприятие принимался со всем увлечением своей пылкой души. Несомненные его дарования помогали ему в этом»⁹³.

Жизнь его отчетливо делится на три периода: до издания «Московского Телеграфа», во время оно и после.

Когда Полевой приступил к изданию журнала, это представлялось делом необыкновенным уже потому, что о самом издателе мало кто знал, да и знавшие совершенно не представляли его с этой стороны. Потому вначале обращали внимание больше на тех, кто принимал участие в издании, в особенности на князя П. А. Вяземского, которого почитали вдохновителем и руководителем. Однако последовавшая размолвка, вскоре сделавшаяся публичной, и оставление Вяземским всякого участия в издании Полевого убедила сомневавшихся в том, что журнал большей частью того, что ценилось в нем публикой, был обязан именно своему официальному издателю и редактору.

Сам Полевой любил представлять себя публике, следуя романтическому канону, в образе самоучки, преодолевшим непонимание в родительском доме и в первоначальном окружении. Биография давала к тому материал, одновременно интригуя и увлекая: родившись в Иркутске, в купеческой семье, проведя там первые 15 лет своей жизни, довольно большую часть молодости прожив в Курске, он появляется перед московской публикой в 1825 г. толковником самых последних новостей европейской интеллектуальной жизни; на протяжении девяти лет раз в две недели выпускает статьи на всевозможные темы, от теории «невещественного капитала» (новость сия долгое время служила предметом насмешек, поскольку в то время мало кто еще слышал об этой теории и она для неподготовленных умов казалась вздором, сочетанием несочетаемого) до санскрита, от парижских лекций Гизо до устройства английских колоний. Приложение модных картинок сильно способствовало успеху журнала и демонстрировало понимание аудитории – Полевой стремился не только просвещать, но и быть «неизменно занимательным», увлекать. Он предстал явлением необыкновенным для самой Москвы, был интересен Петербургу, будучи купцом 2-й гильдии, сонаследником от своего отца небольшого водочного завода, где и размещалась редакция.

Как обычно и бывает с «романтизированными» жизнеописаниями, показания автора не совсем точны. Младший брат Ксенофонт в своих «Записках...» подробно оспаривает рассказ Николая, восстанавливая честь отца. И правда в данном случае на стороне младшего брата, по

⁹³ Полевой Кс. А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. – СПб.: Издание А. С. Суворина, 1888. С. 366.

крайней мере правда фактическая (учитывая страстность, увлекающийся характер первенца, вполне вероятно, что рассказывая о себе, он сам верил во все подробности своего рассказа). Начать с того, что Иркутск был во времена детства и ранней молодости Полевого куда ближе к европейскому образованию, чем большая часть других провинциальных городов Российской империи. Он был центром всей Тихоокеанской коммерции империи и административным центром Сибири. Местные купцы и промышленники не только имели опыт дальних странствий и были знакомы с разнообразными заграничными землями, но нередко были хорошо образованы или во всяком случае имели вкус к знаниям, умели их ценить – о чем свидетельствуют богатые местные книжные собрания. В Иркутске первоначально располагалась (до переноса в Петербург) и контора Российско-Американской компании, к которой семейство Полевых имело непосредственное отношение: Голиковы, вместе с Шелеховым бывшие ее устроителями, приходились близкими родственниками Алексею Евсеевичу Полевому, мать которого была урожденная Голикова, и оба семейства принадлежали к курскому купечеству.

О Полевых сохранился примечательный отзыв Ф. Ф. Вигеля, побывавшего в Иркутске в составе неудачного посольства в Китай в 1805 г. Ему довелось остановиться в доме Полевого, и, неизменно недоброжелательный, он тем не менее выделяет хозяина, противопоставляя его обыкновенному местному обществу, как человека, ведущего вполне европейский образ жизни:

«Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной дешевизне, ели с семьею одну солянку, запивая ее квасом или пивом.

Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, лет сорока с небольшим, был весьма небогат, но весьма тароват, словоохотен и любознателен. Жена у него красавица, хотя уже дочь выдана замуж [...] Он гордился не столько ею самою, как ее рождением: у них был девятилетний сынишка Николай, нежный, беленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны он теперь известен всей России»⁹⁴.

По возвращении в Иркутск Вигель вновь остановился у Полевых, желая знать последние новости о происшедшем за его отсутствие в «большом мире»:

«Для удовлетворения любопытства моего ничего не мог я лучше избрать: Полевой занимался европейскою политикой гораздо более, чем азиатскою своею торговлей. В нем была заметна склонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие»⁹⁵.

В этом описании мемуарист и старший сын купца сходятся в оценке предпринимательских успехов Алексея Евсеевича (в чем им возражает младший сын, отстаивавший коммерческую разумность предприятий отца и сетовавший скорее на «злую судьбу»). Однако как бы то ни было, в 1811 г. отец Николая отправляется в Москву, собираясь перебраться туда со всем семейством. Дальнейшие подробности биографии Полевого мы не будем излагать, отсылая к рассказу самого автора, предпосланному «Очеркам русской литературы» (1839), скорректированному в I части записок Ксенофонта. Отметим лишь, что после года в Москве вернется в

⁹⁴ Вигель Ф. Ф. Записки. В 2 т. Т. I / Ред. и вступ. ст. С. Я. Штрайха. – М.: Артель писателей «Круг», 1928. С. 245.

⁹⁵ Там же. С. 253.

нее Николай Полевой из Курска уже в 1820 г., чтобы обосноваться там надолго. Смерть отца (1822) развязывает ему руки, и теперь он может пуститься в мир литературы и знаний так привлекавший его, уже без оглядки.

Отметим попутно, что возраст – понятие социальное, разное для разных групп. Так, дворянская молодежь начала XIX в. выросла быстро, а вот как рассказывает кн. П. А. Вяземский о начальной истории «Московского Телеграфа»:

«[...] Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вьельгорского. Речь зашла о журналистике. Вьельгорский спросил Полевого, что он делает теперь. – Да покамест ничего, – отвечал он. – Зачем не приметесь вы издавать журнал? – продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Юноша был тогда скромен и застенчив. Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою; он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; – дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевском переулке, зачатое было дитя, которое после наделало много шума в белом свете. Я закабалил себя *Телеграфу*»⁹⁶.

Полевой в данном случае назван «юношей» – и это не следствие старческой памяти, в восприятии и оценках современников тех лет его нередко именуют молодым или юным, в то время как он лишь четырьмя годами младше самого Вяземского, ровесник Николая I. Он «юн» в смысле неопытности, отсутствия в глазах окружающих (которые в большинстве своем выше его по социальному статусу) права говорить от своего лица: потому тон «Телеграфа» и будет в особенности воспринят как дерзкий – юноше надлежало оставаться «скромным и застенчивым», т. е. не смеющим перечить Вяземскому и его приятелям.

Если за дело принимаются весьма неопытные в журнальном деле люди, то вскоре опыт показывает, что дело они понимают весьма хорошо: «Московский Телеграф» ориентируется на лучшие образцы европейской журналистики, в первую очередь французской, но не пренебрегая и британскими с немецкими⁹⁷. Год спустя Полевой пишет петербургскому журналисту П. П. Свиныну, издателю «Отечественных записок»:

«Прошу вас уведомить, любезнейший Павел Петрович, понравится ли вам новое расположение и характер “Телеграфа”. Я решился разделить ученую часть от чисто литературной. Желал бы освободить себя от последней, ибо много вздору принужден помещать поневоле, но нечего делать: публика хочет легкого. Спасибо ей, она славно награждает меня за старание услужить ей, и я никак не думал заслужить от читателей моих такого почтения или чтения.

Представьте, что по сие время у меня уже 700 подписчиков и, кажется, до 1000 доберется. По крайней мере книгопродавцы уверяют, что примеров этому не видали. Вы знаете, что я не употребляю никаких посторонних средств, – просто объявил подписку, и кому угодно – бери. Как-то у вас в Петербурге, а здесь с упадком торговли вообще упала и книжная торговля, а журналы особенно. Каченовский бесится, что у него нет и половины, даже против прошлого года; других журналов и 300 экз. не печатается каждого. Так уж “Телеграфу” счастье выпало»⁹⁸.

⁹⁶ Вяземский П. А., кн. Автобиографическое введение // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I: Литературные, критические и биографические очерки. 1810 г. – 1827 г. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1878. С. XLVIII.

⁹⁷ См. подробный разбор: Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. – СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1903. С. 3–40.

⁹⁸ Козмин Н. К. Указ. соч. С. 515, письмо от 22.I.1826, Москва.

Что Полевой не лукавил, говоря о своем равнодушии к «легкому», свидетельствует поданное им в июле 1827 г. прошение министру народного просвещения А. С. Шишкову, весьма расположенному к журналисту, о дозволении помимо существующего журнала издавать также два раза в неделю газету «Компас», в которой дозволялось бы помещать известия политические и литературные, и «журнал совершенно ученого содержания, который мог бы образовать собою авторитет русской ученой критики», выходящий четыре раза в год, по образцу знаменитых шотландских «Quarterly Review» и долженствовавший называться «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы»⁹⁹. Идея же не только расширить предприятие, но и придать журналу газету была для Полевого постоянной. Несмотря на неудачу прошения в 1827 г., он вновь обращается в 1831 г. с прошением, теперь о дозволении обратить в ежеквартальный толстый журнал «Московский Телеграф», а каждую неделю выпускать «небольшие книжки [...] под названием: *Прибавление к “Московскому Телеграфу”*» и дважды в неделю на французском языке «Journal des modes», причем дозволить подписку отдельно на обновленный «Московский Телеграф» и отдельно на два новых издания¹⁰⁰. Уже после запрещения «Московского Телеграфа» Полевой вновь пробует осуществить сходный план – теперь уже надеясь на средства и влияние книготорговца и книгоиздателя А. Ф. Смирдина, соединив в единой редакционной политике журнал «Сын Отечества» и «Северную пчелу»¹⁰¹.

О том, как воспринимался Полевой (или как желали его противники представить его властям), говорит, например, сохранившийся донос шефу III отделения С.Е.И.В. канцелярии, помеченный 19 августа 1827 г., написанный, видимо, Ф. В. Булгариным, обеспокоенным планами Полевого издавать помимо журнала еще и политическую газету и тем самым нарушить монополию «Северной пчелы»:

«Издатель журнала “Московский Телеграф”, купец Полевой старается приобрести позволение на издание в Москве частной политической газеты с будущего 1828 года. По сему случаю осмеливаемся сделать следующие замечания:

1) Издание политической газеты даже в конституционных государствах поверяется людям, известным своей привязанностью к правительству; опытным и умеющим действовать на мнение. В политической газете самое молчание о предметах, могущих произвести приятное впечатление, и простой голый рассказ о событиях, представляющих власть в виде превратном, могут волновать умы и поселить неблагоприятные ощущения в читателях. Цензура не может заставить издателя рассуждать в пользу монархического правления, или говорить, где ему угодно молчать, а потому дух газеты всегда зависит от образа мыслей издателя. Г. Полевой, по происхождению своему, принадлежит к среднему сословию, которое, по натуре вещей, всегда более склонно к нововведениям, обещающим им уравнивание в правах с привилегированными классами: сей образ его мыслей обнаружен в поданном министру финансов мнении московского купечества, в конце царствования блаженной памяти императора Александра. Мнение сие сочинено г. Полевым и в свое время произвело большие толки: там и Вольтер, и Дидерот выведены на сцену для защиты прав московского купечества. В “Московском Телеграфе” беспрестанно помещаются статьи, запрещаемые

⁹⁹ Текст прошения напечатан: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. В 2 т. Т. II. – СПб.: Издание А. С. Суворина, 1889. С. 382–386.

¹⁰⁰ Там же. С. 395.

¹⁰¹ Отметим, что в последующем эту идею удастся реализовать М. Н. Каткову, с 1856 по 1862 г. пытавшемуся добиться дозволения издавать помимо журнала «Русский Вестник» политическую газету, а затем добившемуся аренды «Московских Ведомостей» (с 1863 г.) и продемонстрировавшему возможности, которые предоставляет подобное соединение.

с[анкт]-петербургскою цензурою, и разборы иностранных книг, запрещенных в России. В нынешнем году помещались там письма А. Тургенева из Дрездена, где явно обнаружено сожаление о погибших друзьях и прошедших златых временах. Вообще дух сего журнала есть оппозиция, и все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в “Московском Телеграфе”. Сие замечено уже и генералом Волковым.

2) Г. Полевой, по своему рождению, не имея места в кругу большого света, ищет протекции людей высшего состояния, занимающихся литературою, и, само по себе разумеется, одинакового с ним образа мыслей. Главным его протектором и даже участником по журналу есть известный князь Петр Андреевич Вяземский, который, промотавшись, всеми средствами старается о приобретении денег. Образ мыслей князя Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе: *Негодование*, служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственно по его бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам. Сей-то Вяземский есть меценат Полевого и надоумил его издавать политическую газету.

3) Москва есть большая деревня. Там вещи идут другим порядком, нежели в Петербурге, и цензура там никогда не имела ни постоянных правил, ни ограниченного круга действия. Замечательно, что от времен Новикова все воспрещенные книги и все вредные, ныне находящиеся в обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже “Думы” *Рылеева* и его поэма *Войнаровский*, запрещенные в Петербурге, позволены в Москве. Все запрещаемое здесь печатается без малейшего затруднения в Москве. Сколько было промахов по газетам и журналам, то всегда это случалось в Москве. Все политические новости и внутренние происшествия иначе понимаются и иначе толкуются в Москве, даже людьми просвещенными. Москва, удаленная от центра политики, всегда превратно толковала происшествия, и журналы, даже статьи из петербургских газет, помещают их часто столь неудачно с пропусками, что дела представляются в другом виде. Вообще, московские цензоры, не имея никакого сообщения с министерствами, в политических предметах поступают наобум и часто делают непозволительные промахи. По связям Вяземского, они почти безусловно ему повинуются.

4) Г. Полевой, как сказано, состоит под покровительством князя Вяземского, который, по родству с женою покойного историографа Карамзина, находится в связях с товарищем министра просвещения Блудовым. Невзирая на то, что сам Карамзин знал истинную цену Вяземского, Блудов, из уважения к памяти Карамзина, не откажет ни в чем Вяземскому. Из угождения Блудову, можно в крайности позволить Полевому помещать политику в своем двухнедельном журнале “Московском Телеграфе”, но выдавать особую политическую газету в Москве невозможно, по причинам вышеизъясненным и для предупреждения зла, которое после гораздо труднее будет истреблять. Весьма полезно было бы, что вообще позволение вновь издавать политические газеты даваемо было не иначе, как с высочайшего разрешения, как сие делается во Франции»¹⁰².

¹⁰² Сухомлинов М. И. Указ. соч. С. 386–389.

К этому времени былой близости между кн. Вяземским и Полевым уже не было, а в 1829 г. наступил окончательный разрыв, стремительно переросший со стороны Вяземского и всего лагеря «литературных аристократов»¹⁰³ в противоборство с Полевым.

Причин было достаточно, но основанием к радикальному разрыву стала публикация в 1829 г. Полевым сначала критической рецензии на «Историю государства Российского» Карамзина (XII, посмертный том вышел под редакцией Д. Н. Блудова именно в этом году), а затем объявление подписки на собственную 12-томную «Историю русского народа», 1-й том которой появился в том же году, а два другие – уже в следующем. Появление «Истории...» дало, с одной стороны, возможность всем недовольным не возражать теперь на критику Полевым Карамзина, а сосредоточиться уже на критике собственной работы Полевого, а с другой – означало, что Полевой не только указывает на недостатки Карамзина, но претендует сам исправить их. В 1847 г. кн. П. А. Вяземский писал:

«В лучшие эпохи литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означилось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине, а по смерти его верховное место в литературе нашей праздно... и нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, претечею и поборником водворения законной власти»¹⁰⁴.

Данную цитату мы приводим не по причине ее своеобразия, а по прямо противоположной – она выделяется разве что отчетливостью и сжатостью воспроизведения концепта «главы литературы»¹⁰⁵. Тем самым притязание, заявленное Полевым, прочитывалось современниками как намерение занять место Карамзина или, скорее, отменить саму иерархию, произвести революцию если не в мире политическом, то в мире литературном¹⁰⁶, независимо от всего прочего еще и дерзостное со стороны журналиста, торговца (пусть и словесностью), т. е. одного из представителей «торгового», по выражению С. П. Шевырева, или, как позже назовет его В. Г. Белинский, «смирдинского» периода. Дабы показать накал страстей, процитируем непропущенное цензурой «Литературное известие», предназначенное к помещению в петербургский журнал «Славянин», издаваемый печально известным А. Ф. Воейковым:

«г. Всезнайкин, известный своими рассуждениями о санскритском языке, и проч., и проч., и проч., намерен на сих днях приступить к изданию Российской истории – для гостиного двора, в 10-ти томах. Подписка будет вскоре приниматься на Апраксином дворе, в меняльной лавочке. Г. Всезнайкин предварительно хочет поместить в *Московском Телеграфе* или в другом подобном журнале рецензию на Карамзина, чтобы доказать

¹⁰³ Отношения с Пушкиным у братьев Полевых не заладились с первой же встречи в сентябре 1826 г. по возвращении поэта из ссылки в Михайловское – Пушкин предпочел попытаться создать «свой» литературный орган, сделав ставку на «архивных юношей», в результате чего был основан «Московский Вестник».

¹⁰⁴ Вяземский П. А., кн. Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. II: Литературные, критические и биографические очерки. 1827 г. – 1851 г. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. С. 357–358.

¹⁰⁵ См.: Вдовин А. В. Концепт «главы литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. – Тарту: Tartu University Press, 2011.

¹⁰⁶ В 1830 г. уже прямо по адресу «Истории русского народа» кн. П. А. Вяземский писал: «Нет сомнения, что оскорбительные суждения о творении его [т. е. «Истории государства Российского» Карамзина. – А. Т.], напечатанные в Вестнике Европы и в Московском Вестнике, имеющие целью поколебать уважение к заслугам, им отечеству оказанным, приготовили нынешние сатурналы литературы нашей, разразившейся появлением Истории Русского народа. В этом отношении г-н Полевой поступил неблагодарно: следовало ему посвятить творение свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Они удобрили ниву, на которой он собирает жатву; они вложили в него мысль и усердие обработать ее. В политическом мире анархия ведет к деспотизму: в литературном мире ниспровержение законов изящности, анархическое своеволие есть также вступление к лжецарствию невежества» [Вяземский П. А., кн. Полное собрание. Т. II. С. 129; ср. известную запись из «Старой записной книжки», сделанную вскоре после похорон Полевого, цитируемую далее].

ничтожество истории Карамзина и заохотить к подписке на российскую историю для гостиного двора. В сочинении сей истории участвует Ксенофонт Ничтович, известный знаток халдейского языка, преподающий теорию романтизма в заведении для умалишенных»¹⁰⁷.

Вяземский в «Литературной газете» в заметке «О московских журналах» (1830) упрекал Полевого, что его «История...» есть в сущности спекуляция и проявление невежества или легкомыслия: «Обещание довести историю до нашего времени есть точно такая же раскрашенная вывеска. Кто из благоразумных людей будет ожидать у нас историю новейших времен, не говоря уже современной эпохи? Но не все же пишется для благоразумных людей. Современная история нигде не доступна, особливо же у нас. [...] Историк, который добровольно берется перефразировать „Московские Ведомости“, писать о том, о чем писать не можно, и выдавать свою книгопродавческую работу за историю, тот накидывает большое подозрение на свой исторический характер и на свою историческую добросовестность. Отказываясь верить ему в одном, трудно доверять ему и там, где он мог бы свободно излагать свое мнение. Несбыточные обещания изобличают по крайней мере неосновательность ума, если не хвастовство и не шарлатанство; но и одной неосновательности довольно, чтобы отбить веру и уважение»¹⁰⁸. Защищая Карамзина и по долгу родственному (как брат по отцу его жены), и по долгу дружбы многолетней, и по представлениям о надлежащей литературной иерархии, Вяземский на долгие годы принимается за борьбу с Полевым и его «Историей...» – в частности, распуская слух (поддерживаемый, напр., Пушкиным), что остальных объявленных томов не появится¹⁰⁹ и заключая в рецензии на первый том:

«Пока *История Русского народа* есть только история Русской сноровки сбывать свой товар налично, когда он еще и не на лицо»¹¹⁰.

Чаще всего в обвинениях критиков звучал упрек сословный – купечество Полевого, который числился сначала купцом 2-й гильдии. Так, Арцыбашев писал Погодину, упрекая его и других москвичей за принятие издателя «Телеграфа» в число членов Общества Истории и Древностей Российских, что сей член оно не огражден законами российскими от телесного наказания:

«Состояние Полевого укоризна не ему, но тому ученому Обществу, которым он удостоен, безо всяких заслуг, членского звания. Купца 3-й гильдии может судебное место высечь плетьюми и – кто знает будущее? – может быть со временем высекут Полевого; следственно действительного члена почтеннейшего Общества Истории и Древностей Российских растянут на площади. Подумайте сами, приятно ли будет сие видеть или слышать о таком происшествии? Есть и крепостные люди с ученостью, лучшею нежели Полевой, так неужели же и их производить в члены ученого Общества, состоящего при Университете»¹¹¹.

Но если негодование было широко и громко, то и в одобрении не было недостатка. Помирившийся в это время с Полевым (перед лицом «литературной аристократии») Ф. В. Булгарин поместил похвальный отзыв, в котором утверждал:

¹⁰⁷ Козмин Н. К. Указ. соч. С. 493.

¹⁰⁸ Вяземский П. А., кн. Полное собрание. Т. II. С. 123–124.

¹⁰⁹ Там же. С. 148–149.

¹¹⁰ Там же. С. 149.

¹¹¹ Барсуков Н. Указ. соч. Кн. III. С. 45.

«Это первая критическая История России. Есть критические исследования об отдельных частях Истории; есть повествовательная История, но никто еще не предпринимал у нас писать Историю в духе критическо-философическом. Честь первенства принадлежит г. Полевому. Взгляд у него верный. Множество заблуждений гаснет пред его критическим светильником. Кто желает знать Отечественную Историю, тот непременно должен прочесть книгу Полевого»¹¹².

Но если этот отзыв вполне сопоставим с суждениями то ли самого Воейкова, то ли кого из его сотрудников, или, в лучшем случае, князя Вяземского, не относясь непосредственно ни к ученым достоинствам, ни к недостаткам труда Полевого, то и среди самого научного сообщества отнюдь не было единодушия. Так, многолетний приятель и клиент Погодина Венелин писал тому из Петербурга об общении с академиками:

«Удивительно то, что Круг и Кеппен принадлежат к приверженцам Полевого (!!!) Странно. Не понимаю. Дело, кажется, в том, что оба сии почтенные имена по несколько раз встречаются в *Истории Русского Народа* как классические.

Впрочем, оба сии мужа показались мне благородных чувствований»¹¹³.

А. Ф. Вельтман передавал Н. А. Полевому в начале 1830 г. другой лестный для автора отзыв:

«Вчера с удовольствием слышал я повторяемы слова одного ученого, умнейшего и известного человека, на счет “Истории русского народа”; а именно Николая Николаевича Муравьева; он говорит, что эта книга полна истинной философии истории и оценится Европою. Извините, что мне приятно быть эхом справедливых слов [...]»¹¹⁴.

Уже одно это дает основание предполагать, что сочинение не было совсем лишено достоинств. Прежде всего остановимся на том, за что Полевой критикует Карамзина, т. е. в чем именно он видит его несовременность, непринадлежность к «нашему поколению». Полевой отмечает, что само понятие «истории» изменилось: «Нам говорят об историках и исчисляют сряду: *Иродот, Тацит, Юм, Гизо*, не чувствуя, какое различие между сими знаменитыми людьми и как ошибается тот, кто ставит рядом Иродота и Гизо, Тита Ливия и Гердера, Гиббона и Тьерри, Робертсона и Минье»¹¹⁵.

Современное понятие истории («в высшем знании») есть «практическая проверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза. Здесь мы разумеем только *всеобщую историю*, и в ней видим мы истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего»¹¹⁶. Это «история высшая», помимо нее существуют «многообразные до бесконечности» «формы истории»: «критическая, повествовательная, ученая», но «в основании каждая из них должна быть *философская*, по духу»¹¹⁷.

Но и не могущий быть причислен к плеяде современных великих историков, из числа которых Полевой называет Нибура, Тьерри, Гизо и Баранта, «Карамзин не выдерживает срав-

¹¹² Там же. С. 45–46.

¹¹³ Там же. С. 44.

¹¹⁴ Козмин Н. К. Указ. соч. С. 523.

¹¹⁵ Полевой Н. А. История государства Российского. Сочинение Н. М. Карамзина // Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика: Статьи, рецензии 1825–1842 / Сост., под-гот. текста, вступ. ст., коммент. В. Березиной, И. Сухих. – Л.: Художественная литература, 1990. С. 37.

¹¹⁶ Там же. С. 37–38.

¹¹⁷ Там же. С. 38.

нения и с великими историками прошедшего века, Робертсоном, Юмом, Гиббоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, тою глубокою изыскательностью причин и следствий, какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века. Карамзин столь же далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности просвещения Россия от Англии»¹¹⁸.

В самом заглавии труда Карамзина Полевой видит ошибку (и этим объясняется и избранное им заглавие своей книги):

«С прибытия Рюрика он начинает говорить: *мы, наше*; видит *Россиян*, думает, что любовь к отечеству требует облагорожения варваров, и в войне Олега, войне Иоанна Грозного, войне Пожарского не замечает разницы; ему кажется достоинством гражданина образованного правило государственной нравственности, требующей уважения к предкам»¹¹⁹. После сего можете ли ожидать понятия, что до Иоанна III была *не Россия*, но *Русские государства*; чтобы в Олеге видел автор норманнского варвара; в борьбе уделов отдавал равную справедливость и Олегу Черниговскому, и Владимиру Мономаху? Нет! и не найдете этого. [...] Так в Рюрике видит он монарха самодержавного, мудрого; в полудиких славянах народ славный, великий, и – даже воинские трубы Святославовых воинов Карамзин почитает доказательством *любви россиян к искусству мусикийскому!*»¹²⁰.

Иными словами, «государство Российское», по мнению Полевого, предстает у Карамзина некой вневременной данностью – он описывает не его возникновение и развитие, не предисторию, а все тот же один объект, с которым случается история, но который сам внеисторичен.

Если в статье 1829 г. Полевой выставляет свое понимание истории и ее задач в противовес Карамзину, то в предисловии к вышедшему в том же году I тому «Истории русского народа» он рисует его более полно, оговариваясь: «Мысли, мною изложенные, мне кажутся справедливыми, и скрывать их для выгод мелочного авторского самолюбия я почел бы делом недостойным. Если трудом своим я не достиг цели, какую предполагал для истории и историка, если исполнением не поддержал того, что требовал от историка в предисловии, тем хуже для меня. По крайней мере, искренность моя будет ручательством, что я искал истины, старался найти ее»¹²¹.

Прежде всего он противопоставляет старое, отжившее понимание истории – новому, тому, которое в статье называл «философским»:

«С идеей человечества исчез для нас односторонний эгоизм народов; с идеей земного совершенствования мы перенесли свой идеал из прошедшего в будущее и увидели прошедшее во всей наготе его [...]»¹²².

Если для Карамзина важна история как моральное поучение и столь большую роль играет нравственная оценка отдельных персонажей, осуществление посмертного суда, где роль судьи берет на себя от лица потомства историк, то для Полевого уроки истории – не отдельные события, не собрание примеров, на которых может поучаться государь или государственный муж:

«Лестница бесчисленных периодов человечества и голос веков научили нас тому, что уроки истории заключаются не в частных событиях, которые можем мы толковать и преображать по произволу, но в общности, целости

¹¹⁸ Там же. С. 46.

¹¹⁹ Цитата из предисловия к «Истории государства Российского».

¹²⁰ Полевой Н. А. История государства... С. 45–46.

¹²¹ Полевой Н. А. История русского народа. В 3 т. Т. 1. – М.: Вече, 1997. С. 25.

¹²² Там же. С. 21.

истории, в созерцании народов и государств, как необходимых явлений каждого периода, каждого века. [...]

Историк и не судья, ибо составление обвинительных актов даст повод подозревать его в пристрастии так же, как и составление оправдательных. Он живописец, ваятель прошедшего бытия: от него требует человечество только верного, точного изображения Прошедшего, для бесконечной тяжбы природы с человеком, решаемой судьбою непостижимою и вечною»¹²³.

Вместе с тем история не только требует от автора быть «живописцем прошедшего бытия», но и непосредственно обращает к нему художественное требование¹²⁴, тем более что история не может быть уложена в силлогизм без нарушения правил логики:

«Воодушевляя, воскрешая прошедшее, она [т. е. история. – А. Т.] делает его для нас настоящим, преобразуя жизнь прошедшего в слово и, таким образом, выражая совершившееся так же, как слово выражается для нас мертвыми буквами. Историк не есть учитель логики, ибо история такой силлогизм, коего вывод или третья посылка всегда остается нерешимым для настоящего, а две первые не составляют полного, целого силлогизма»¹²⁵.

Если Карамзин надеялся на свое «сердце, еще не совсем старое», которое дало бы ему возможности «для изображения действий и характеров»¹²⁶, то Полевой требует прямо противоположного:

«Отделим простое, сердечное участие, какое невольно принимаем мы, видя борьбу человека против судьбы и падение его в сей борьбе, от исторического созерцания дел и событий, когда мы должны глядеть бессмертными очами судьбы, не знающими слез сострадания и соучастия. Кто из нас не желал Аннибалу победы под стенами Карфагена, на полях Замских? Так невольно соболезуем мы сердцем судьбе тверских князей; будем еще сострадать бедствию рода князей суздальских, характеру и гибели Шемяки и падению Новгорода и Пскова. Но страсть – удел поэта, а не историка [...]»¹²⁷.

К прочим недостаткам, по мнению Полевого, «присовокупляется у Карамзина [...] худопонятая любовь к отечеству. Он стыдится за предка, раскрашивает (вспомним, что он предпо-

¹²³ Там же. С. 21–22.

¹²⁴ Ведь и в числе тех, кому надлежало родиться, «дабы могли мы наконец понять, что есть история? Как должно ее писать и что удовлетворяет наш век?» Полевой называет Шиллера, Цюкке, Гете, В. Скотта [Полевой Н.А. История государства... С. 41] – и для него самого будет важно соединение опыта историка и исторического романиста: он дважды опишет события княжения Василия Темного, сначала в романе «Клятва при Гробе Господнем» (1832), а затем в V томе «Истории» (1833). Отметим, что полемика с Карамзиным охватывает и эту сторону – так, например, в примечаниях к I тому своей «Истории...» он пишет: «Что раздельные народы славянские были основание образовавшихся потом княжеств русских (например, что Киев составили поляне, Чернигов – северяне), в сем нет сомнения. Мстислав (1023 г.), поставя северян против врагов, и объезжая потом поле битвы, говорил: “Кто сему не рад? Се лежит Северянин, а не Варяг, а дружина своя цела (Кен., ст. 102)”. “Слово, недостойное доброго Князя, ибо Черниговцы, усердно пожертвовав ему жизнью, стоили, по крайней мере, сожаления”, – говорит Карамзин (Ист. Г.Р., т. II, с. 24). Справедливо; но не лучше ли было, вместо неуместной чувствительности, извлечь более важное замечание о взаимной народной ненависти разных русских областей, основанной на различиях народов, этих древних кланов, которые ожидают своего В. Скотта?» [Полевой Н. А. История... Т. I. С. 527, прим. 33] – иными словами, там, где для Карамзина находится материал морального поучения, там Полевой видит художественный материал, который открывается благодаря историзму, преобразующему скучные или печальные княжеские распри в незнакомую реальность прошлого.

¹²⁵ Полевой Н. А. История... Т. I. С. 22.

¹²⁶ Карамзин Н. М. Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву / Под ред. М. Н. Лонгинова. – М.: Тип. Бахметева, 1860. С. 51.

¹²⁷ Полевой Н. А. История... Т. 3. С. 83. В предисловии к «Истории...» Полевой вставляет язвительную похвалу историографу, отмечая «благородную смелость, с какою Карамзин защищает угнетенного несчастливца, ненавидит сильного злодея, вступает за права человека. Но этим едва ль не ограничатся все достоинства “Истории государства Российского”» [Там же. Т. I. С. 31].

лагал делать это еще в 1790 г.); ему надобны герои, любовь к отечеству, и он не знает, что *отечество, добродетель, геройство* для нас имеют не те значения, какие имели они для варяга Святослава, жителя Новгорода в XI веке, черниговца XII века, подданного Феодора в XVII веке, имевших свои понятия, свой образ мыслей, свою особенную цель жизни и дел»¹²⁸ – здесь Полевой формулирует тезис об историчности понятий настолько ясно, как не скоро еще удастся найти в русской исторической науке. Но ключевая его цель в данном случае – это политически «нейтрализовать» историю, добиться того, чтобы вопрос о «патриотизме» или «непатриотизме» той или иной исторической концепции не поднимался. Как напишет он в том же году уже в своей «Истории...», «в ком русская кровь не кипит сильнее при слове: Россия, в добродетели и уме того я – сомневаюсь»¹²⁹, но сразу же продолжит:

«Так в настоящем, и совсем иначе в прошедшем»¹³⁰,

т. е. в смысле понимания прошлого – Полевой утверждает:

«Нимало не почитаю историю России для нас любопытнее других потому, что Россия есть наша родина, что в ней покоится прах наших предков. Любовь к отечеству должна основываться не на сих воспоминаниях, не на детском уважении, какое внушает нам родная сторона»¹³¹.

Право на интерес обосновывается Полевым через самостоятельное, выдерживающее любое объективное сравнение, значение русской истории, ее великое прошлое, не говоря уже о будущем. В «судьбе человечества» Россия участвует лишь со времен Петра I, до этого она изъята из общей истории, но история предшествующая тем не менее имеет значение всеобщее, как объяснение последующего, а «XIX век ознаменовался исполинским движением России в дела Европы: вот начало новой, нашей эпохи»¹³². В этой логике нам нет нужды возвеличивать, «раскрашивать» предков – история как таковая не требует оправданий и извинений, Россия не нуждается в лучшей истории, потому что не ищет в ней убежища от настоящего. Ее история интересна любому, в ком вообще есть интерес к истории:

«Нет сомнений: история России предмет огромный, достойный философа и историка. Но умели ли мы доньше почтить важность его своими трудами, обработали ли его так, чтобы нам можно было указать любопытному наблюдателю на какое-нибудь творение и сказать ему: “Читай, ты узнаешь Россию!”»¹³³.

Полевой заранее предвидит упрек, который бросит ему, например, кн. Вяземский¹³⁴, в неподготовленности, скороспелости труда, и защищаясь от него, с одной стороны, рассказывает о своих многолетних занятиях историей (которые, по правде, свидетельствуют лишь о долговременном интересе к прошлому и обильном чтении, но никак не о научной подготовке), а с другой – переходит в контрнаступление, в обозрении предшествующей историографии замечая:

«С IX тома Карамзин почти отказывается от критики; X и XI тома еще слабее в историческом достоинстве; XII том собран из немногих, всем известных летописей и государственных напечатанных актов; это

¹²⁸ Полевой Н. А. История государства... С. 50.

¹²⁹ Полевой Н. А. История... Т. I. С. 27.

¹³⁰ Там же

¹³¹ Там же. С. 26–27.

¹³² Там же. С. 522, прим. 12.

¹³³ Там же. С. 28.

¹³⁴ Вяземский П. А., кн. Полное собрание. Т. II. С. 148.

повествовательный рассказ, а не История, и Карамзин так писал его, что 5-я глава была еще не дописана им, а начало ее, вместе с первыми 4 главами, было уже переписано и готово к печати. Когда же думал историк?»¹³⁵.

Впрочем, главный недостаток Карамзин делит со всеми «писателями XVIII века»¹³⁶, и здесь время, отведенное на обработку конкретного тома, не могло бы помочь:

«Придет по годам событие, Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде. Надобно ли изобразить (не нужно, впрочем, для русской истории) подробную картину движения народов в древние времена: Карамзин ведет через сцену киммериян, скифов, гуннов, аваров, славян, как китайские тени; надобно ли описать нашествие татар: перед вами только картинное изображение Чингис-Хана; дошло ли до падения Шуйского: поляки идут в Москву, берут Смоленск, Сигизмунд не хочет дать Владислава на царство и – более ничего!»¹³⁷.

В этом отношении Полевому было что предложить – разумеется, он имел совсем небольшую историческую подготовку, но был весьма начитан и в отечественной истории, и в истории европейской, был хорошо знаком с новыми историческими трудами и понимал их смысл, сознавал новое движение исторической мысли. Потому он оказался способен под новым углом взглянуть на собранный и первоначально обработанный другими исторический материал¹³⁸, предложить ту самую связь событий, свой взгляд на истоки действий, описание которых дает Карамзин. Вместо «государства Российского» и описания всех тех, кому со времен древних греков довелось существовать или бывать около его европейских пределов, Полевой начинает с «призвания варягов», ставя его в один ряд с современными походами викингов на запад и юг, и рисует картину первоначальных владений, связанных целями грабительскими и торговыми во времена, когда они, собственно, различались лишь по возможностям. Первоначальные княжества – опорные пункты, власть князя нельзя представлять себе как власть над определенной территорией – она существует в городах и убывает за их пределами, растворяясь в пространстве, а власть здесь есть собственно возможность собирать дань. Раннюю стадию он именует «феодализмом варяжским», при Владимире переходящим в «систему уделов», «феодализм семейственный», когда все другие варяжские владения, независимые княжества, были уничтожены. Полемизируя с Карамзиным, он пишет: «[...] единовластие не могло с тех времен установиться в Руси: оно было еще слишком ново для русского государства, и при том система политического быта должна была испытать еще одну необходимую степень, составляющую переход от феодализма к монархии: систему уделов, обладаемых членами одного семейства, под властью старшего в роде – феодализм семейный»¹³⁹ – и продолжает в примечании:

«Должно [...] понять различие власти, и различие отношений между повелевавшими и повиновавшимися, в древнем и новом мире. Латинское слово: *Res publica*, превратившееся в наименование особенного образа

¹³⁵ Полевой Н. А. История... Т. 1. С. 231

¹³⁶ Полевой Н. А. История государства... С. 49.

¹³⁷ Полевой Н. А. История государства... С. 49.

¹³⁸ «По моему мнению, донныне столько уже приготовлено материалов для Русской Истории собственно, мы уже столько знакомы с современными, верными идеями об истории вообще, что можем отважиться писать нашу историю так, чтобы сущностью, порядком идей, воззрением на дела, она могла быть достойна внимания людей просвещенных» [Полевой Н. А. История... Т. 1. С. 32–33].

¹³⁹ Там же. С. 197.

правления, известного древним, точно обозначает сей образ правления; так же как изменение значения греческих слов: деспот, тиран (вначале означавших просто звание государей – деспот, тиран, а потом злоупотребление власти), другой образ правления, древним известного. Феодализм везде переходил в систему Уделов, где только монархия могла побеждать его. Сей порядок казался так естественным, был столь необходим в самом деле, что обвинение Владимира и Ярослава в политической ошибке оказывается вовсе не справедливым, при малейшем соображении. *Любопытно видеть, как ошибался в этом отношении Карамзин (ошибки человека с умом необыкновенным поучительны)* [выд. нами. – А. Т.]. Он то утверждает, что князья русские были единовластны, то отвергает сие; то приписывает уделы духу времени (“следуя несчастному обыкновению сих времен, Владимир разделил государство”, см. Ист. Г.Р., т. 1, с. 220), то относит их чисто к любви родительской (“здравая политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской”, говорит о Ярославе, Ист. Г.Р., т. II, с. 27). Можно бы выставить десятки подобных, одно другому противоречащих мест, показывающих, что *Карамзин, писавши Историю России, не составил себе предварительно ясного понятия о государственном строе Древней Руси* [выд. нами. – А. Т.]»¹⁴⁰.

Обрисовывая «систему уделов», Полевой уже довольно близко подходит к последующей «родовой теории», видя в княжеских распрях и спорах за великокняжеский стол не пустые раздоры, а проявление определенной логики. В этом плане закономерно, что его наибольший интерес вызывает княжение Василия Темного: в этом времени он видит последнюю эпоху удельных порядков и наступление времени «Русского государства». Во времена от Дмитрия Донского до Василия Темного он берет материал и для романа «Клятва при Гробе Господнем»¹⁴¹, и для «Повестей Ивана Гудосника»¹⁴², видя здесь трагическую коллизию, столкновение двух правд – прежнего, удельного старшинства и верности своему князю, и нового государственного порядка.

Собственно, учитывая магистральный сюжет Полевого, именно его истории следовало бы называться «Историей государства Российского», поскольку он занят именно происхождением и развитием государства, ставшего в итоге Российской империей – потому его, в отличие от многих других современников, занятых разработкой истории, мало интересуют сюжеты, связанные с судьбой, напр., Западной Руси – точнее, интересует ровно в той степени, в какой их знание необходимо для понимания формирования русского государства, как необходимо для этого знание истории Золотой Орды или Византии. Историзм позволяет ему не держать в уме воображаемую карту современной империи или какого-то конкретного последующего исторического этапа – история не оказывается историей в границах, еще не существующих в то время, которым только предстоит возникнуть.

Впрочем, все это не отменяло многочисленных недостатков «Истории...» Полевого, начиная со слога и вплоть до полной приблизительности плана изложения – вся работа носит следы торопливости, журнального письма. Белинский в написанной после смерти Полевого, прекратившей, наконец, их многолетнюю распрю, брошюре воздавал покойному должное:

«Он был рожден на то, чтоб быть журналистом, и был им по призванию, а не по случаю. [...] Верен был он себе и в своей “Истории русского народа”:

¹⁴⁰ Там же. С. 525–526, прим. 29.

¹⁴¹ Полевой Н. А. Клятва при Гробе Господнем. Русская быль XV века. В 4 ч. – М.: Университетская типография, 1832.

¹⁴² Полевой Н. А. Повести Ивана Гудосника. Ч. I. – СПб.: Тип. Бородина, 1843.

как и во всем, что ни написал он, и в ней был он журналистом, а не историком. В этом ее слабая сторона, но в этом и ее относительные достоинства»¹⁴³.

Брат его, Ксенофонт, вспоминал: «[...] Н.А. не был способен посвятить много лет для одного занятия»¹⁴⁴, но он и не всегда был способен рассчитать свои силы. Ксенофонт Полевой рассказывал, что брат «сначала предполагал, – и я убедительно советовал ему, – написать русскую историю не подробную, а в виде очерка, в размере трех-четырех томов. Но когда он начал свое сочинение, то каждое событие, почти каждая подробность увлекали его, и он старался объяснить все, дать отчет во всем»¹⁴⁵. О движении замысла рассказывал и сам Полевой в предисловии:

«Меня занимала мысль написать подробную Историю России за три последние века (XVII, XVIII, XIX). [...] я изменил план своей работы, распространил его, и – издаю полную Историю русского народа, с самого начала его до наших дней»¹⁴⁶.

Таким образом, как говорил Полевой, начав «систематическое сочинение о Русской Истории» с 1825 г.¹⁴⁷, он сначала думал ограничиться последними веками, т. е. выступить в роли продолжателя, а не ниспровергателя Карамзина, начать там, где тот остановился¹⁴⁸. Вообще интерес его был преимущественно обращен к новой истории России: об этом он писал много и охотно, переиздал «Деяния Петра Великого» Голикова (своего родственника по материнской линии), надеялся получить официальное соизволение и допуск в архивы для работы над «Историей Петра» (вполне, впрочем, неудачно), написал уже в 1840-е биографию Суворова и историю Наполеона – скепсис кн. Вяземского о возможности современной истории происходил из разного представления о том, чем может быть эта история и готовности Полевого во многом довольствоваться «перифразом *Московских Ведомостей*».

Однако те, кто сомневался в серьезности отношения Полевого к предпринятой им «Истории...», заблуждались – по меньшей мере сам он относился к ней настолько серьезно, насколько это было возможно при его характере и его представлении об историописании. В 1829–1830 гг. вышли в свет три первых тома «Истории...», затем наступил продолжительный перерыв (давший основание обвинять Полевого в обмане читателей, поскольку на сочинение принималась подписка), но в 1833 г. вышли еще три тома. В «Литературной летописи» «Библиотеки для Чтения» незадолго до разразившейся над Полевым катастрофы, смявшей его планы и намерения, появилось объявление о продолжении работы над «Историей...»:

¹⁴³ Белинский В. Г. Николай Алексеевич Полевой // Полное собрание сочинений. Т. IX: Статьи и рецензии. 1845–1846. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 682, 695.

¹⁴⁴ Полевой Кс. Указ. соч. С. 80.

¹⁴⁵ Там же. С. 286.

¹⁴⁶ Полевой Н. А. История... Т. 1. С. 33.

¹⁴⁷ Там же.

¹⁴⁸ См. другие замыслы: Полевой Кс. Указ. соч. С. 285.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.